

СѢВЕРНЫЙ  
ВѢСТНИКЪ

1886.

АПРѢЛЬ, № 4.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Товарищество «Печать С. П. Яковлева». Большая Морская, № 58.

1886.

СМ. Цепур. Кн. выпущен 29. Апрель. 86.



# СОДЕРЖАНІЕ.

## ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

	стр.
I. — ИЗЪ НЕВОЗВРАТНАГО ПРОШЛАГО. Романъ изъ жизни юго-западнаго края. Г. Мачуга . . . . .	1
II. — ИЗЪ ДѢТСТВА И ШКОЛЬНЫХЪ ЛѢТЪ. Окончаніе. А. Я. . . . .	87
III. — СОСЛОВНЫЯ ПУЖДЫ, ЖЕЛАНІЯ И СТРЕМЛЕНІЯ ВЪ ЭПОХУ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ КОММИССИИ (1767—1769) Я. Абрамова. . . . .	145
IV. — НА ТУМАННОМЪ СѢВЕРѢ. Романъ изъ Германской жизни. Окончаніе. Руслана. . . . .	181
V. — ПРЕСЛѢДУЕМЫЙ ВСАДНИКЪ. Стихотвореніе, Дм. Минаева. . . . .	212
VI. — ОБЯЗАННОСТИ. Глав. VI—VIII. В. Крестовскаго (псевдонимъ). . . . .	215
VII. — ИЗЪ ДВУХЪ МІРОВЪ. Романъ Кармоя. (Приложеніе въ концѣ книги) . . . . .	39—70

## ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

I. — ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КРИТИКИ. А. Саннетти. . . . .	1
II. — УПАДОКЪ КРЕСТЬЯНСКИХЪ ХОЗЯЙСТВЪ ПРИ ОБЩИННОМЪ ЗЕМЛЕВЛАДѢНІИ. П. С—наго. . . . .	21
III. — СЛАВЯНСКІЙ МЕССИАНИЗМЪ. М. Урсина. . . . .	52
IV. — ОБЛАСТНОЙ ОТДѢЛЪ. Волость безъ живой воды. Н. Бамнова. — Крестьянское хозяйство въ черноземной полосѣ. В. Бирюковича. — Изъ провинціальной печати. . . . .	81
V. — НОВЫЯ КНИГИ. Сочиненія Глѣба Успенскаго. — Карлъ Эмиль Французъ. Повѣсти и разсказы. — Цари биржи (Канново племя въ наши дни). Романъ В. И. Немировича-Данченко. — Драматическія сочиненія И. В. Шпажинскаго. — Невозможно философіи. Маркизъ О'Ланчъ. — Введеніе въ курсъ исторіи древняго міра. Н. Карфава. — Введеніе въ курсъ исторіи среднихъ вѣковъ. Егю-де. — Идеи всеобщей исторіи. Егю-де —	



## ИЗЪ ДѢТСТВА И ШКОЛЬНЫХЪ ЛѢТЪ.<sup>1)</sup>

### Часть третья.

#### Х.

Спрашивается, какимъ образомъ переиѣна зеленого платья на коричневое и переходъ изъ одной части зданія въ другую въ состояніи вдругъ совершенно вверхъ дномъ перевернуть весь внутренній душевный мірокъ тринадцати-четырнадцати-лѣтняго существа? Что касается насъ, то можно сказать, что по переходѣ нашемъ въ старшій классъ у насъ точно совсѣмъ инымъ духомъ повѣяло; первымъ признакомъ этого было то, что большинство воспитанницъ стало прихорашиваться, другими словами, разнообразить прически, больше-то ничего и сдѣлать нельзя было: каждая ленточка подвергалась строжайшей конфискаціи. Потомъ завелись разговоры о томъ, интересенъ-ли тотъ или другой учитель или дядя и братъ которойнибудь изъ подругъ. О ребяческихъ обожаніяхъ уже не было рѣчи. Иныя, впрочемъ, оставались дѣтьми дольше и еще шалили и играли, но уже какъ-то стыдясь и потихоньку. Иныя напротивъ уже зачитывались романами. Кое-кто втихомолку писалъ стихи.

Вотъ образчикъ моего поэтического творчества въ четырнадцать лѣтъ:

Забудьте все, что было между нами,  
Мою безумную и страстную любовь  
Съ ея безумными мечтами...  
Забудьте все, чего не будетъ вновь!

<sup>1)</sup> См. №№ 2 и 3 „Сѣв. Вѣстн.“



Забудьте все, что знали вы одни:  
 И чувствъ и мыслей вамъ открытую пучину...  
 Тѣ чувства въ жизни разъ даны,  
 О мысляхъ тѣхъ давно ужъ нѣтъ помину!

Забудьте-жъ все, что было между нами;  
 Забудьте все, чего не будетъ вновь...  
 Мою безумную и страстную любовь...  
 И будьте счастливы, Богъ съ вами!

И вѣдь сколько счастливыхъ часовъ прошло за кропаніемъ подобныхъ стишковъ!

Поводъ къ сочиненію этихъ стиховъ припоминается мнѣ теперь во всемъ своемъ комизмѣ. Одна изъ подругъ нашихъ вернулась изъ дому, съ каникулъ, вскорѣ послѣ перехода нашего въ старшій классъ. Она была дѣвочка довольно высокаго росту, но родные продолжали наряжать ее, беря домой, въ прежнія короткія платья и вышитыя панталонцы, изъ которыхъ она давно вышла. Когда она пріѣхала, ей позволили, раньше чѣмъ переодѣться въ казенное платье, пройти въ садъ повидаться съ подругами. Поздоровавшись съ классомъ, она задумчиво отошла въ сторону и принялась ходить одиноко по аллеѣ, ожидая, пока ее позовутъ въ гардеробную. Я съ любопытствомъ смотрѣла на нее; слыша, что она что-то твердитъ про себя, я подошла ближе: вотъ что она декламировала:

И подъ маской наружнаго холода  
 Безконечная скрыта любовь!

Мнѣ это очень понравилось и я рѣшила сама тоже сочинить что нибудь про любовь.

Что касается до нашей жизни въ заведеніи, то можно сказать, что она вела къ тому, чтобы подъ маской наружнаго холода крылись и внутренній холодъ и пустота,—но вдругъ поступилъ къ намъ въ учителя Антонъ Алексѣвичъ Алексѣевъ.

Однако я еще пока ничего не говорила о нашихъ учителяхъ вообще. Начну съ преподавателя русскаго языка, предшественника Антона Алексѣича. Въ младшемъ классѣ онъ поучалъ насъ грамматикѣ по учебнику собственнаго сочиненія, причемъ мы ни съ буквой „ѣ“, ни съ частями предложенія справляться не научились. По переходѣ нашемъ въ старшій классъ было рѣшено, что пора заняться „теоріей словесности“. Заключалась она въ краткихъ біографіяхъ русскихъ авторовъ, въ числѣ которыхъ не



былъ забыть самъ учитель, какъ переводчикъ нѣсколькихъ нѣмецкихъ драмъ. О Вѣлинскомъ янига на упоминала, о Гоголѣ было ровно десять строкъ. О Тургеневѣ ничего не говорилось. Самое преподаваніе было такого рода, что учитель получилъ отъ насъ прозваніе „кашевара“ за неудобоваримую кашу, которою набивалъ наши головы.

Учитель исторіи—сухенькій, маленькій человѣчекъ съ тоненькимъ рѣзкимъ голоскомъ, обыкновенно задавалъ намъ по Смагдакову „отсюда и до сюда“. Курсъ по институтской программѣ останавливался на времени Реставраціи Бурбоновъ и дальше этого для насъ все было, говоря слогомъ самого учителя, „покрыто мракомъ неизвѣстности“. Классъ исторіи проходилъ въ томъ, что мы наизусть отвѣчали выученный слово въ слово урокъ, не понимая его и не умѣя продолжать, если насъ прерывали.

Учитель географіи не долго читалъ у насъ по своему; онъ было завелъ интересныя, живыя лекціи. Это былъ полякъ, руководствовавшійся учебникомъ Даніэля и вслѣдствіе этого чуть не потерявшій мѣста. Внешнее начальство, присутствовавшее на одномъ изъ его уроковъ, полюбопытствовало заглянуть въ учебникъ и тутъ-же сдѣлало преподавателю строгое внушеніе не вольнодумствовать на счетъ западныхъ и южныхъ губерній и помнить, что онъ не на университетской кафедрѣ. Учитель тотчасъ образумился, такъ какъ былъ обремененъ многочисленной семьей;—на слѣдующій урокъ принесъ учебникъ Ободовскаго и впередъ сталъ, какъ и остальные учителя, отвѣчать по книгѣ: выучить „отсюда и досюда“.

Учителемъ нѣмецкаго языка былъ Негг Влуме; отличительною чертою его было не то, что онъ заставлялъ насъ учить все задаваемое на память, а то, что онъ такъ сильно пропахъ табакомъ, что вручаемыя ему на просмотръ тетради приходилось, по возвращеніи ихъ отъ него, вывѣтривать за окномъ, прежде нежели прятать обратно въ ящикъ. Негг Влуме былъ на видъ человѣкъ суровый, рѣдко улыбался, что не мѣшало намъ знать его большую сердечную доброту и въ грошъ его не ставить.

Напротивъ, французъ, М-г Дулас, былъ человѣкъ весьма веселый и направленія чрезвычайно игриваго; онъ иногда для развлеченія своего и нашего отпускалъ даже небольшія двусмысленности.

Законоучитель былъ добрейшій и простой старикъ, задававшій



уроки „по сіе время“—и всегда ставившіи намъ внешія отпѣтки, что не мѣшало ему за каждый урокъ стыдить насъ за лѣность и нерадѣніе.

Было у насъ и два Аякса: учителя рисованія—господа Клокачевъ и Клушинъ. Оба были маленькаго роста, кругленькіе и пожилые. Клокачевъ былъ бѣлокурый, голубоглазый, блѣднолицый, суровый и молчаливый человѣкъ. Онъ училъ рисовать пейзажи и головки акварелью и пастелью.—У Клушина волосы были черные; глаза его напоминали по цвѣту, величинѣ и быстротѣ жирныхъ и блестящихъ черныхъ таракановъ; лицо у него было смуглое, краснощекое и лоснилось. Онъ былъ права веселаго, болтливъ, и не умолкалъ о прелестяхъ своей „курнофейки“—единственной и любимой маленькой дочери—дѣвочки съ вздернутымъ носикомъ, за что она и была прозвана отцемъ „курнофейкой“, что всегда вызывало у насъ неудержимый смѣхъ на счетъ его „вульгарности“. Онъ училъ рисовать цвѣты чернымъ карандашомъ и акварелью.

Учитель ариметики, обрусѣвшій нѣмецъ, Гуссе, былъ желчный, больной человѣкъ, страшно требовательный и успѣвшій внушить намъ только страхъ и ненависть къ себѣ и къ своему предмету.

Былъ у насъ еще учитель естественныхъ наукъ, М-г Dulaurieg. Онъ читалъ намъ по французски зоологію, ботанику, минералогію и физику. Изъ его уроковъ мы вынесли, что орелъ—царь птицъ, левъ—царь четвероногихъ, а роза—царица цвѣтовъ; а по физикѣ, что гдѣ-то существуетъ какой-то „calorique latent...“ Но какъ и чѣмъ представляло себѣ этотъ „calorique“ большинство моихъ подругъ—трудно сказать; однажды я слышала отъ одной воспитанницы серьезное предположеніе, что это и есть именно та безконечная любовь, которая скрыта подъ маской наружнаго холода.

Съ учителемъ чистописанія мы распрощались при переходѣ въ старшій классъ,—онъ былъ настолько безличенъ, что сказать о немъ рѣшительно нечего. Были еще учителя музыки, пѣнія и танцевъ. Этихъ искусствамъ насъ учили въ то время, которое по официальнымъ росписаніямъ назначалось на отдыхъ, гуляніе и приготовленіе уроковъ. Такъ итальянское (свѣтское) пѣніе занимало два вечера въ недѣлю, церковное—два, танцы—два, субботній вечеръ былъ занятъ всенощной. Послѣ завтрака было назначено гуляніе отъ часу пополудни до двухъ, мы-же въ это время либо готовились къ урокамъ музыки, либо брали ихъ,



либо повторяли хоровое пѣніе подъ руководствомъ дамъ, помощницъ учителей. Въ большинствѣ эти дамы были бѣдин, забиты и застѣнчивы; относились мы къ нимъ полусвысока. Что касается самихъ учителей искусствъ, то все они почему-то считали обязанностью быть очень веселыми, острить, смѣяться и шутить съ нами и все внушали намъ какое-то гадливое отвращеніе.

Насъ учили также ручнымъ работамъ: двѣ воспитанницы изъ cadaго класса по очереди уходили на недѣлю въ руководѣльную; на уроки къ учителямъ эти очередныя не являлись. Работы состояли, главнымъ образомъ, въ вышиваніи подарковъ высокопоставленнымъ лицамъ.

Спрашивается, когда-же мы готовили уроки по научнымъ предметамъ? А вотъ когда: иногда учителя не приходили—въ ихъ „пустые часы“ можно было учиться. Затѣмъ былъ часъ отдыха между обѣдомъ и началомъ урока пѣнія или танцевъ, отъ пяти съ половиною до шести съ половиною часовъ; наконецъ учились ночью, потихоньку отъ классныхъ дамъ.

Я чуть не забыла сказать, что и домашнему хозяйству было отведено у насъ мѣсто: такъ разъ въ годъ мы ходили, также по двѣ изъ класса, въ образцовую кухню, гдѣ все наше дѣло заключалось въ томъ, чтобы вычистить по картофелинѣ, затѣмъ процессіей снести на пробу къ начальницѣ изготовленныя будто-бы нами блюда и наконецъ съѣсть ихъ. Къ счастью ихъ готовили не мы, а добродушнѣйшая экономка нѣмка, поэтому они были всегда очень вкусны и мы считали хожденіе на кухню большимъ праздникомъ, потому что, благодаря этому, хоть разъ въ году почеловѣчески насыщались.

Совершенно неожиданно для насъ нашъ учитель русскаго языка вышелъ въ отставку и его замѣнилъ Антонъ Алексѣвичъ Алексѣевъ. Первое появленіе новаго учителя вызвало только насмѣшки. По наружному виду Антонъ Алексѣвичъ былъ очень своеобразенъ, высокъ, худъ, съ замѣчательно-длиннымъ носомъ, длиннѣйшими руками и сравнительно маленькой головой, на которой въ видѣ лучей торчали густыя пряди жесткихъ черныхъ волосъ, незамѣтно переходившія въ такія же жесткія черныя бакенбарды и бороду—ну обезьяна, да и только! Но изъ этого обезьяняго лица глядѣли такіе умные и привѣтливые глаза, они



сѣили такъ человѣчно и тепло, что имя „шимпанзе“, данное ему одною изъ воспитанницъ, очень скоро замѣнилось названіемъ „красное солнышко“. Съ вступленіемъ Антона Алексѣвича къ намъ, живое, искреннее слово зазвучало въ нашемъ мертвомъ царствѣ: порою шутка, порою добродушная насмѣшка начали шевелить и будить мозги наши; равнодушіе наше къ невѣжеству стало исчезать: намъ сдѣлалось стыдно, что нѣтъ у насъ ни знаній, ни желанія узнать что-либо. Черезъ какія нибудь полгода большинство ученицъ стало писать толково и уже безъ грубыхъ ошибокъ. Началъ развиваться интересъ къ чтенію не однихъ только романовъ. Антона Алексѣвича спрашивали, что читать, просили разъяснить прочитанное; онъ всегда охотно говорилъ съ нами и помогалъ во всемъ, искренно любя юношество; его выбрали библіотекаремъ институтской библіотеки—онъ самъ выбиралъ для насъ книги и въ послѣдній годъ передъ выпускомъ посовѣтовалъ читать нѣкоторыя статьи Бѣлинскаго. Но бѣднымъ головамъ нашимъ трудно было справиться съ этимъ чтеніемъ, ни думать, ни сосредоточиваться мы не умѣли, да ничто и не могло доселѣ научить насъ этому. Антонъ Алексѣвичъ впрочемъ и самъ какъ-то недовѣрчиво отнесся къ своему опыту, приучить насъ къ серьезному чтенію и ни слова осужденія не высказалъ тѣмъ, которыя возвратили ему книги, говоря, что онѣ для нихъ не по силамъ.

Къ сожалѣнію не долго оставалось въ заведеніи наше „красное солнышко“.

По переходѣ нашемъ въ старшій классъ у насъ произошла и еще одна перемѣна, помимо поступленія къ намъ Антона Алексѣвича; именно въ заведеніе наконецъ пріѣхала новая классная дама, „совѣтъ русская“, какъ выражалась Шурочка. Это была Катерина Ѳеодоровна Тардѣева; ее ждали уже два года тому назадъ, но ее до сихъ поръ удерживали дома семейныя дѣла, вслѣдствіе чего мы все еще продолжали находиться подъ началомъ M-elle Розенблюмъ. Первые слова теплаго привѣта, сказанныя Катериной Ѳеодоровной, когда она вошла къ намъ по пріѣздѣ, заставили насъ понять, что она не то, что другія, и мы, не спрашивая себя—почему—тотчасъ-же полюбили ее и не ошиблись.

Велика ея заслуга по отношенію къ намъ:—она любила насъ. Не всѣ поступавшія въ институтъ дѣвочки были такими заброшенными сиротами, какъ я, нашедшая здѣсь сравнительное счастье.



Многія попадали въ заведеніе прямо изъ холящей и делѣющей обстановки родного дома и тяжело было имъ изъ Ани, Сони и Маши стать сразу Ивановой, Петровой, Семеновой... номеромъ двадцатымъ, тридцатымъ, сороковымъ... Для Катерины Ѳедоровны мы никогда не бывали номерами, или даже Ивановыми, Петровыми, Семеновыми, а всегда оставались дѣтьми, которыхъ она звала по имени. Слащавости по отношенію къ намъ не было въ ней никакой, только она никогда не забывала, какъ надрывается сердце ребенка при первой разлукѣ съ семьей. Первое время по пріѣздѣ въ институтъ я нерѣдко просыпалась по ночамъ. Какъ часто слышала я тогда вздохи и глухой дѣтскій плачь: бѣдняжки прятали лицо въ подушку, чтобы не слышно было, чтобы не разбудить подругъ... и какою глубокою тоскою звучалъ вѣчно одинъ и тотъ-же зовъ: „Мама, ахъ мама!“

Катерина Ѳедоровна понимала это. Была-ли она ученымъ педагогомъ, держалась-ли готовой, предвзятой системы, строго слѣдя за логичностью собственныхъ мыслей и поступковъ? Не знаю, да и не думаю... Но и теперь, послѣ многихъ лѣтъ, у меня становится тепло на душѣ, когда я вспоминаю объ этой доброй женщинѣ, имѣвшей на долю каждой изъ насъ частичку любви въ сердцѣ. И мы любили ее. Что касается меня, то я считала ее совершенствомъ во всѣхъ отношеніяхъ. Мнѣ нравилось даже широкое покрытое веснушками лицо ея съ неправильнымъ носомъ и слишкомъ большимъ лбомъ, на который она низко начесывала рыжеватые густые волосы. Я уже не говорю о ея живыхъ, умныхъ карихъ глазахъ и улыбкѣ, которую я иначе не умѣю назвать, какъ плѣнительной. Своей ласковой улыбкой Катерина Ѳедоровна поистинѣ сумѣла заполнить сердца наши. Ей не грубили, ее не обманывали, ей не лгали. Она никогда не наказала ни одной изъ насъ. Самымъ строгимъ выговоромъ ея было: „И вамъ не стыдно!“ И намъ бывало всегда очень стыдно, когда она была недовольна нами.

А сколько въ ней было веселости, юмору! Собраться вокругъ нея въ свободное время и поговорить съ нею было для насъ величайшимъ изъ удовольствій. Она не давала намъ никогда скучать: въ рѣдкія свободныя минуты свои и наши она пѣла съ нами, читала намъ вслухъ или рассказывала что нибудь. Никогда не отказывала она намъ ни въ какомъ объясненіи, но всегда была готова помочь каждой изъ насъ. Комната ея была намъ во всякое время доступна. Даже досугами своими она



охотно жертвовала намъ, уча въ это время желающихъ англійскому или итальянскому языку, конечно бесплатно. Сама она очень много знала, какъ казалось мнѣ тогда. Она всегда старалась быть справедливой, отъ нея нельзя было ожидать какихъ нибудь бессмысленныхъ нападокъ и поэтому день ея дежурства былъ для насъ днемъ нравственнаго успокоенія и отдыха.

## XI.

Вмѣстѣ съ Катериной Федоровной пріѣхала въ институтъ ея племянница Варя Тардѣева; она поступила въ нашъ классъ. Я въ это время еще очень скучала по моему милому другу Шурочкѣ, о которой не имѣла ни малѣйшаго извѣстія. Варю привлекъ мой печальный видъ и она постаралась сблизиться со мною. На меня она произвела съ самаго начала очень хорошее впечатлѣніе и мы кончили тѣмъ, что подружились. Дружба Вари была для меня тѣмъ дороже, что въ это время m-lle Адамсъ особенно недружелюбно относилась ко мнѣ. Я и теперь удивляюсь, какъ могутъ возникать эти уродливыя ненависти, вслѣдствіе которыхъ сильные и начальствующие гонятъ, вколачиваютъ въ гробъ слабыхъ и подчиненныхъ. Какъ и почему началось недоброжелательство Адамсъ ко мнѣ, трудно сказать; вѣроятно это случилось незамѣтно для нея самой, а со временемъ непріязнь возросла до ненависти. Какъ бы то ни было, но теперь m-lle Адамсъ съ какимъ-то особеннымъ удовольствіемъ изыскивала средства оскорбить меня: упрекала меня тѣмъ, что я не богата, что отецъ бросилъ меня, что я не буду знать, куда преклонить голову послѣ выпуска изъ заведенія.... Наружность моя служила ей предметомъ неисчерпаемыхъ остротъ, какъ нѣкогда Медвѣдевскимъ дѣтямъ: она смѣялась надъ моимъ смуглымъ цвѣтомъ лица, худобой, недостаткомъ граціи... и когда я, выведенная изъ терпѣнія, спрашивала ее: „Чѣмъ же я во всемъ этомъ виновата?“ Она отвѣтила, что я виновата уже тѣмъ, что не сознаю того, что я „дрянная дѣвчонка, физическій и нравственный уродъ“, а воображаю себя красавицей и умницей, что отлично видно изъ моего непокорнаго взгляда, насмѣшливой улыбки и дерзко вздернутаго носа!—Въ лицо Адамсъ мнѣ случалось протестовать, но тѣмъ не менѣе втихомолку я пролила много горькихъ слезъ о томъ, что я



такая несчастная, не только безобразная, но и полная нравственныхъ недостатковъ.

Вообще мнѣ жилось тогда не весело: иногда я думала, что если-бы не было на свѣтѣ Вари, да Катерины Ѳедоровны, да Антона Алексѣевича, то и жить бы не стоило. На меня напала какая-то апатія, смѣнявшаяся временами необузданнымъ желаніемъ сдѣлать какойнибудь отчаянный вздоръ, только бы выйти изъ того тяжелого однообразія, которое гнело меня, прерываясь лишь столкновеніями съ Адамсъ. Вспоминая по временамъ о Шурочкѣ и ея шалостяхъ, я удивлялась, какъ она не дѣлала ихъ еще въ тысячу разъ больше. И еслибы не совершенно случайное совпаденіе различныхъ обстоятельствъ, очень можетъ быть, что я бы и сдѣлала какойнибудь весьма большой вздоръ: съѣла-бы какуюнибудь гадость въ родѣ фосфорныхъ спичекъ, или нагрубила-бы Адамсъ такъ, что начальству осталось бы только въ поученіе остальнымъ исключить меня изъ заведенія, или... но мало-ли чего не могла-бы я надѣлать, въ особенности въ виду нѣкоторыхъ новыхъ вліяній, которыя мало-по-малу начинали дѣйствовать на насъ, исходя именно изъ той начальственной среды, которой было поручено блюсти и хранить нашу чистоту душевную.

Къ счастью, какъ я сказала, встрѣтилось совершенно неожиданно стеченіе различныхъ обстоятельствъ, которыя круто измѣнили мое положеніе. Это случилось въ концѣ второго года пребыванія нашего въ старшемъ классѣ. Но я расскажу объ этомъ нѣсколько подробнѣе.

Было семнадцатое сентября, именины начальницы нашей, Софьи Ивановны Воиновой. День былъ теплый, настоящій лѣтній. Мы ждали прихода Антона Алексѣевича въ классъ русскаго языка. Всѣ чинно сидѣли по мѣстамъ: мы за пюпитрами, Адамсъ на лѣво отъ нашихъ столовъ и отъ учительской кафедры и спиною къ незавѣшенному окну, чрезъ которое солнце ярко освѣщало и кафедру и насъ и три огромныя черныя классныя доски вправо у стѣны. Я не особенно ласково вглядывалась въ дебелую фигуру Адамсъ и въ тоже время прислушивалась къ доносившимся изъ коридора шагамъ учителей, спѣшившихъ въ классъ. Вотъ это сѣменить ножками М-г Dulac, вотъ неровно притопываетъ Негг Blume, вотъ батюшка, степенно покашливая, тяжеловато шлепаетъ ногами по направленію къ приготовительному классу. Мнѣ нездоровилось и вообще



этотъ день начался для меня скверно; съ утра Адамсъ поимала меня за чтеніемъ Байрона и, несмотря на мои протесты, отняла книгу. Теперь она довольно не ласково крикнула мнѣ:

— M-lle Медвѣдова, снимите пелеринку и держитесь прямѣе!

— M-lle Адамсъ, позвольте мнѣ остаться въ пелеринкѣ и прислониться: мнѣ немного холодно и бокъ болитъ.

— Это еще что за нѣжности! я попрошу васъ исполнить то, что приказала: вы совершенно неприлично развалились!...

Она встала съ мѣста, плавно подошла ко мнѣ и, глядя на меня въ упоръ, проговорила, рѣзко отдѣляя и отбѣняя каждое слово:

— И если вы еще позволите себѣ возразить мнѣ что-нибудь, то я поставлю васъ носомъ къ доскѣ... Что вы это за привычку взяли разсуждать? Вы здѣсь для того, чтобы слушаться, а не для диспутовъ и словопреній!...

Она сама сняла мнѣ пелеринку и выпрямила плечи. Я хотѣла протестовать, но Варя Тардѣва, сидѣвшая подлѣ меня, сжала мнѣ подъ столомъ руку и прошептала:

— Молчи, Бога ради!

Я смолчала и Адамсъ сѣла на мѣсто. Скверное мое расположеніе зависѣло и еще отъ одной причины. Дѣло въ томъ, что сегодня Антонъ Алексѣвичъ долженъ былъ возвратить намъ сочиненія, написанныя нами на тему „Изъ воспоминаній дѣтства“ и отданныя ему на просмотръ. Къ работамъ нашимъ Антонъ Алексѣвичъ относился серьезно и былъ не милосердъ ко всему тому, что грѣшило противъ здраваго смысла. Понятно, что всѣмъ намъ сильно отъ него доставалось. Но на этотъ разъ я боялась не столько за собственное сочиненіе, отданное учителю за моею подписью, сколько за другое, написанное мною для Вѣры Табаровой, одной изъ моихъ подругъ, о которой мнѣ еще придется сказать кое-что впослѣдствіи и которая полѣнилась сдѣлать работу сама. А бояться было за что: охваченная желаніемъ что нибудь „напрокудить“, я написала тамъ всякаго вздору, не сообразивъ, что за этотъ вздоръ придется расплачиваться не мнѣ. Теперь мысль о томъ, что я поставила другого человѣка въ непріятное положеніе мучила меня.

Но вотъ раздались въ корридорѣ быстрые и твердые шаги Антона Алексѣвича. Онъ все дѣлалъ быстро: быстро отворилъ дверь, стремительно взбѣжалъ на возвышеніе, гдѣ стояла его кафедра и также быстро принялся рыться въ кожаномъ порт-



фелъ, туго набитомъ произведеніями нашихъ сорока головъ. Перебравъ тетради онъ отложилъ три изъ нихъ въ сторону. Я между ними узнала и свою.

— Г-жи Ильина, Табарова и Медвѣдева! вызвалъ учитель.

Мы встали и подошли къ подножію каедрн.

— Вотъ-съ ваши тетради. Г-жа Ильина, ваше сочиненіе никуда негодится: вы просто сдѣлали переводъ статейки изъ нѣмецкой христоматіи, забывъ отиѣтить на заголовкѣ, что это переводъ. Ошибокъ у васъ по обычаю нѣтъ, обороты правильны, написано чистенько... Тѣмъ не менѣе отиѣтки не ставлю, хотя долженъ бы былъ поставить, такъ какъ задача не исполнена... но—садитесь!.. Г-жа Табарова, потрудитесь прочесть во всеуслышаніе то, что вы насочиняли... За эту работу я ручаюсь, что она не переводъ, хотя за самостоятельность ея—не могу!.. Читайте!

Пока Ильина, наша первая ученица, вся красная отъ стыда и досады, садилась на мѣсто, Табарова развернула не тетрадь, а черновую, которую я отдала ей, стала въ полуоборотъ къ учителю и лицомъ къ м-лле Адамсъ и окинула классъ своими блестящими черными глазами... Мое сердце дрогнуло: Ну, теперь бѣда! подумала я... Между тѣмъ Табарова начала:

### Воспоминанія моего дѣтства.

Мое семейство принадлежитъ къ древнему дворянскому роду. Мы жили въ большомъ, средневѣковомъ, готическомъ замкѣ на берегу Москвы рѣки. Дѣвственные лѣса окружали подножія скалъ, на которыхъ высились башни „Соколиного гнѣзда“—такъ назывался нашъ замокъ. Мѣстность была дикая и угрюмая: между утесами бурлили водопады, а тамъ, гдѣ потокъ становился мирнѣе, онъ заливалъ отлогіе берега, превращая ихъ въ непроходимыя болота, въ тинѣ которыхъ гнѣздились сотни крокодиальныхъ крокодиловъ, выходившихъ на сушу только для того, чтобы пожирать несчастныхъ путниковъ...

Сначала чтеніе слушалось молча, безъ особеннаго вниманія,—потомъ сталъ раздаваться подавленный смѣхъ; когда дѣло дошло до крокодиловъ—никто не выдержалъ и взрывъ дружнаго хохота прервалъ Табарову;

— Ш-шъ, ш-шъ! Тише, Mesdemoiselles, silence! Aber schwei-



gen sie doch! кричала Адамсъ, выбиваясь изъ силъ, чтобы возстановить порядокъ.

Табарова, читавшая почти машинально, не вникая въ смыслъ, сама съ какимъ то удивленіемъ поглядѣла сначала на свои листки, потомъ на хохочущій классъ... Наконецъ она поняла, что смѣются надъ нею, когда Антонъ Алексѣвичъ едва сдерживая улыбку, обратился къ намъ:

— Какъ вамъ не стыдно, сударини... тутъ смѣшного мало!..

Табарова воспользовалась шумомъ и обратилась къ учителю, чего она никогда при другихъ обстоятельствахъ не рѣшилась бы сдѣлать.

— Антонъ Алексѣвичъ! Вѣдь вы сами, сказали, что можно писать все: что Богъ на душу положить, а вотъ теперь тоже чуть не смѣтесъ... вѣдь мнѣ обидно!

Мнѣ было ужасно совѣстно: я знала, что Табарову не скоро „примешь“, — теперь, однако, было видно, что всеобщій смѣхъ на ея счетъ ей очень непріятенъ. Она укоризненно посмотрѣла на меня. Я же думала про себя: какъ бы это было хорошо вотъ тутъ, сейчасъ же, провалиться сквозь землю.

Смѣхъ умолкъ послѣ усиленнаго шипа Адамсъ, которая сидѣла вся красная и грозная, вѣроятно обдумывая будущую рѣчь о неприличіи нашего поведенія... Но какое мнѣ было дѣло до нея—все мое вниманіе было обращено на Антона Алексѣича, который говорилъ Табаровой:

— Я не требовалъ однако, отъ васъ, судариня, чтобы вы писали всякую чепуху, которая можетъ промелькнуть въ вашей головѣ... Вы имѣли полное право, конечно, взять воображаемыя подробности жизни и описать ихъ; но все въ нихъ должно было быть реальнымъ, т. е. такимъ, какимъ встрѣчается въ дѣйствительности... Я нахожу лишнимъ распространяться о томъ, что на берегахъ Москвы рѣки средневѣковыхъ замковъ, да еще и готическихъ, вовсе нѣтъ—это вы знаете, такъ же хорошо, какъ и я... Знаете вы также, что предки большей части русскихъ дворянъ, представляли не „соколиные“ роды, а сословіе, члены котораго именovali себя: „холопъ твой, Ванька или Степка!“—Ну, да не въ этомъ дѣло... Вамъ, г-жа Табарова, отлично извѣстно, вѣдь вы москвичка, что Москва рѣка не бурлитъ между скалистыми берегами и не разливается въ широкія болота... Бывають такъ, конечно, и болотцы и лужи послѣ половодья, но крокодиловъ въ нихъ не водится... развѣ желтохвостый или



краснобрюхій тритонъ попадется—этихъ я и самъ давливалъ... Что касается до дѣвственныхъ лѣсовъ, то къ сожалѣнію лѣсные урочища по всей Россіи большою частью давно повирублены и проданы для уплаты долговъ, надѣланныхъ ихъ владѣльцами, потомками древнихъ и не древнихъ дворянскихъ родовъ...

Табарова, слушая учителя, нетерпѣливо подергивала плечами, слегка топала ногой и ворчала про себя: „Вѣдь знаетъ, что не я это написала, а пильтъ... пильтъ!“

Антонъ Алексѣвичъ между тѣмъ продолжалъ:

— Я очень хорошо понимаю, что на этотъ разъ лицо, писавшее сочиненіе, знало всю несообразность написаннаго... Надеюсь, кстати, что подобныя шутки не будутъ повторяться... Но дѣло въ томъ, что въ сочиненіяхъ вашихъ, милостивныя государины, я вообще часто нахожу „крокодиловъ!“ Садитесь, г-жа Табарова—я вамъ также отѣтки не ставлю, но прошу васъ не въ счетъ написать мнѣ новое сочиненіе къ слѣдующему уроку—я просмотрю вашу работу отдѣльно. Что касается г-жи Ильиной, то затруднять ее новымъ переводомъ не считаю нужнымъ.

Табарова такъ и не дочитала воспоминаній своего дѣтства, а какихъ еще тамъ не было „крокодиловъ!“ Эпизодъ этотъ настроилъ весь классъ смѣшливо; одна Адамъ пожимала плечами, удивляясь, какъ это учитель такъ слабъ съ одной изъ воспитанницъ и такъ строгъ къ другой.

Мнѣ было совѣстно и нехорошо. Еслибъ я считала возможнымъ тутъ же, сейчасъ, при всѣхъ признаться Антону Алексѣвичу въ своей винѣ, то я это безъ сомнѣнія сдѣлала бы, не откладывая ни на минуту, но я не смѣла: во первыхъ потому, что Адамъ злорадно наказала бы Табарову за то, что та не сама сдѣлала свою работу—подобныя вещи строго преслѣдовались; во вторыхъ потому, что заговоривъ во время класса съ учителемъ я нарушила бы одно изъ главныхъ правилъ школьной дисциплины: намъ даже не позволяли просить разъясненій на счетъ уроковъ, задаваемыхъ учителемъ—для этого были классныя дамы.

„Г-жа Медвѣдова,“ обратился Антонъ Алексѣвичъ ко мнѣ: „не угодно-ли вамъ начать читать!“ И я начала. Я говорила въ своемъ сочиненіи о настоящемъ своемъ дѣтствѣ, о матери, о любви моей къ ней и о чудесныхъ воспоминаніяхъ, которыя оставили мнѣ весна, лѣто, осень и зима, которыя я первая за-



поинила. Потомъ я говорила о рожденіи маленькаго брата, о смерти матери, о тоскѣ моей по ней и о таинственныхъ напѣвахъ призрачной „души“.

Я едва могла дочитать. Я слишкомъ глубоко чувствовала то, о чемъ писала; я не ожидала, что чтеніе это будетъ мнѣ такъ трудно. И какъ только могла я писать объ этомъ для всѣхъ. Окончивъ, я взглянула на Антона Алексѣвича и мнѣ вдругъ стало очень хорошо на душѣ: онъ смотрѣлъ на меня съ такой добротой. Но въ ту-же минуту меня точно кольнуло воспоминаніе объ этой глупой исторіи съ сочиненіемъ, написаннымъ для Табаровой.

„Я непременно должна сознаться Антону Алексѣвичу“, твердила я про себя: „я не хочу, чтобы онъ думалъ обо мнѣ лучше, нежели я того стою... Мнѣ будетъ и тяжело и стыдно вынести укоръ отъ него, но такъ нужно, такъ честно...“

Въ это время раздался звонокъ. Классъ былъ оконченъ и учитель ушелъ. Теперь мы должны были отправиться въ садъ. Я успѣла выскользнуть изъ класса незамѣтно для Адама и пробралась къ двери такъ называемой „учительской“, куда преподаватели наши обыкновенно собирались въ „переѣвну часовъ“. Я думала переговорить съ Антономъ Алексѣвичемъ, когда онъ выйдетъ оттуда. Мнѣ не долго пришлось его ждать: лишь только я подошла къ двери, какъ онъ вышелъ оттуда.

— Антонъ Алексѣвичъ!

— Что вамъ угодно, г-жа Медвѣдева?

— Антонъ Алексѣвичъ, мнѣ ужасно совѣстно, торопилась я: вѣдь это я Табаровой, ради шутки, написала эту чепуху... я и сама теперь не рада...

— Вы? То-то я удивлялся, что г-жа Табарова... А вѣдь это не хорошо!... спохватился онъ: вѣдь вы, стало быть, хотѣли надъ нею потѣшиться, потому что умнѣе ея... Развѣ Табарова виновата въ своей глупости?...

— Я знаю, что дурно поступила, Антонъ Алексѣвичъ, только Табарова не глупѣе меня и я не хотѣла сдѣлать ей зла, а только пошутить... бессмысленно... У меня дрожалъ голосъ и я чувствовала, что вотъ-вотъ, заплачу.

Антонъ Алексѣвичъ замѣтилъ это и ему видимо стало меня жаль.

— Ну, ну да и я вѣдь считаю это небольшое, какъ шалостью!... Только знаете что: не забывайте, что не нужно дѣлать другому



того, чего-бы вы не хотѣли, чтобы дѣлали вамъ... Ну, вы также хорошо это знаете, какъ и я... И не только это, а еще: если сможете, такъ и любите другихъ... вы сможете: у васъ есть теплые уголки въ душѣ... А, не такъ-ли я говорю?

— Ахъ, Антонъ Алексѣевичъ, я ничего не могла сказать больше, но чувствовала себя усюкою, счастливою... я внутренно давала себѣ священное слово запомнить навсегда, на вѣки вѣчные то, что говоритъ мнѣ мой добрый учитель, и надѣялась, что поступая, какъ онъ совѣтывалъ, заглажу хоть отчасти свои вины противъ ближнихъ.

— М-elle Медвѣдова! Нѣтъ, это ужъ слишкомъ! Передъ нами стояла Адамсъ; я видѣла, что она очень разсержена, тѣмъ не менѣе она любезно улыбнулась, кланяясь Антону Алексѣвичу, который ласково кивнулъ мнѣ головой, вѣжливо поклонился Адамсъ и быстро зашагалъ по направленію къ швейцарской.

Когда онъ скрылся за дверью, классная дама разразилась:

— Это ни на что не похоже! Вы даже стыда не боитесь... такъ бѣгать за учителемъ! Вѣдь вамъ семнадцать лѣтъ! Впрочемъ вы съ дѣтства отличались безнравственными наклонностями... Не даромъ меня предупреждала объ этомъ тетюшка ваша, М-ше Медвѣдова, когда привезла васъ въ институтъ, и просила зорко слѣдить за вами...

М-elle Адамсъ повернулась и сдѣлала мнѣ знакъ идти за нею по направленію къ саду. По дорогѣ она ворчала:

— А вѣдь какія тоже „тушантныя“ сочиненія пишетъ! Начнешь слушать—подумаешь ангелъ, а не дѣвушка... И вдругъ, тутъ-же, посреди всѣхъ своихъ „touchant-ностей“ и прорвется, —покажетъ son pied fourchu!... Она всей фигурой сразу повернулась ко мнѣ и окинула меня полнымъ презрѣніемъ взглядомъ. Я бы на вашемъ мѣстѣ со стыда умерла, что заговорила, какъ это сдѣлали вы, о родахъ въ сочиненіи, которое подаю учителю, мужчине!... Но вѣдь у васъ никогда стыда не было!

Я крѣпко сжала руки и губы. Ну, что я могу сказать ей на этотъ потокъ нелѣпостей... Если-бы я вздумала вступить съ нею въ разсужденія — она не въ состояніи понять того, что я буду говорить, и сочтетъ это только за новую дерзость... Не въ состояніи она сообразить и того, что не имѣетъ права обдавать меня презрѣніемъ... что она обязана иначе относиться ко мнѣ... она вѣдь моя воспитательница! Воспитательница! Повторяю я мысленно и слѣдомъ за Адамсъ, понуривъ голову, бреду



въ садъ, гдѣ ни должны пробыть до семи часовъ вечера, когда намъ прозвонятъ къ ужину.

## XII.

Я медленно шла по аллеѣ, куда глаза глядятъ; я чувствовала необыкновенную усталость и тяжесть въ головѣ. Въ ушахъ у меня шумѣло. Я бы Богъ знаетъ что дала за право лечь теперь въ постель и отдохнуть, заснуть, чтобы забыть и досаду на Адамсъ и нездоровье. Сдѣлавъ шаговъ двадцать я встрѣтила двухъ „дѣвицъ“ изъ моего класса и спросила, не видали-ли онѣ Вари Тардѣвой. Мнѣ отвѣчали, что за ней только что прислала тетка и что она ушла на верхъ домой. Не зная что начать, я забралась въ одинъ изъ садовыхъ угловъ, сѣла на помѣщавшуюся тамъ скамью и прислонилась головой къ сырой садовой стѣнѣ. Холодъ ей казался освѣжалъ меня. Я закрыла глаза—вотъ бы такъ и заснуть здѣсь надолго и видѣть сны, хорошіе сны, гдѣ бы не было ни M-elle Адамсъ, ни этого тяжелаго недоумоганія, которое охватило теперь всю меня...

— Паничка, Паничка! Меня кто-то трясъ за плечо... я открыла глаза: надо мною нагнулась Табарова.

— Ты что-же это спишь въ сумерки въ самомъ сыромъ углу сада? Невинно громко, какъ показалось мнѣ, говорила она: захворать что-ли хочешь?

Я устало поднялась съ мѣста. Табарова взяла меня подъ руку. „Пойдемъ, пройди со мной, согрѣйся... Смотри, ты совсѣмъ застыла!“ Она стала дуть на мои руки, взявъ ихъ обѣ въ одну свою.

Доброта ея тронула меня.

— Вѣра, ты развѣ простила меня за мою глупую шутку?...

Она съ удивленіемъ посмотрѣла мнѣ въ глаза и потомъ расхохоталась.

— А за сочиненіе-то! Да я и не сердилась на тебя... Очень мнѣ все это нужно... всѣ эти сочиненія... знанія тамъ и все подобное! Зачѣмъ мнѣ все это?

— Какъ зачѣмъ? Сначала я сама не знала хорошенько, что сказать... такъ прямо я и себѣ этого вопроса не ставила—мнѣ правилось учиться, я и училась охотно... А зачѣмъ въ самомъ дѣлѣ? подумала я; однако хотъ кой-какой отвѣтъ у меня да нашлся:



— Мало-ли на что это нужно: чтобы знать, чтобы не быть хуже и глупѣе другихъ... а потомъ... потомъ... ну, хоть для того, чтобы, если придется, можно было сдѣлаться учительницей, гувернанткой тамъ что-ли. или классной дамой...

Табарова опять расхохоталась:

— Ахъ, какая-же ты, Пани, смѣшная! Какая смѣшная! Да ты посмотри на меня: развѣ такія бываютъ классныя дамы, или гувернантки и учительницы!

Она отпустила мои руки и улыбаясь стала предо мной.

„Правда, правда—не такія!“ Думалось мнѣ: „всѣ онѣ уже не молоды“—я видѣла все не молодыхъ и не красивыхъ и либо такихъ, какъ Адамъ, либо забытыхъ, несчастныхъ какихъ-то... а эта? Красавица! Настоящая красавица: стройная, высокая... густые, черные, блестящіе волосы завитками курчавятся на низкомъ, широкомъ и гладкомъ, какъ мраморъ, лбу... Какія ярко красныя щеки и губы!.. А черные, какъ уголь, глаза съ своими слегка синеватыми бѣлками такъ и сверкаютъ, такъ и смѣются... Даже немножко короткій прямой носъ съ вѣчно подвижными ноздрями и тотъ не портитъ этого лица—точь въ точь такой для него и нуженъ!

Не даромъ Табарова считается у насъ первой красавицей;—ее прозвали „Богиней“—... Ее классъ вообще любитъ... Она неисправимая лѣнница, но за то очень добра: если съ кѣмъ и поборанится—что иногда случается—то сейчасъ-же и забудетъ и хороша по прежнему. Класснымъ дамамъ она тоже не грубитъ—ей бы, пожалуй, всегда за поведеніе двѣнадцать ставили (высшій баллъ), еслибы не беспорядочность ея въ одеждѣ, да несчастныя кудри. Отъ нея требуютъ, чтобы волосы ея не вились, а они вотъ вьются, да и только, на зло всѣмъ правиламъ и приказамъ... и передникъ не гладко сидитъ на ней и корсета она носить не хочетъ, и вѣчно бархатку или ленточку навязываетъ на шею...

Тутъ уже и наказанія ничего не помогаютъ.

Учителя какъ-то странно относятся къ ней: иные не обращаютъ никакого вниманія, иные снисходительнѣе, нежели къ остальнымъ...

Ну, правда, какая она гувернантка! Она хоть и не богатая дѣвушка, но это не помѣшаетъ ей сейчасъ-же послѣ выпуска замужъ выйти...

Такія „богини“ въ дѣвкахъ не засиживаются! вертится у меня въ головѣ гдѣ-то схваченная фраза.



Между тѣмъ Табарова опять взяла меня подъ руку и во-  
дла взадъ и впередъ по аллеѣ, терпѣливо дожидаясь, пока  
я скажу что нибудь или, можетъ быть, и вовсе не нуждаясь  
въ этомъ.

— Къ кому ты поѣдешь послѣ выпуска? Спросила я ее:  
Вѣдь у тебя, кажется, совсѣмъ родныхъ нѣтъ—къ тебѣ никто  
никогда не прїѣзжаетъ.

— Какъ нѣтъ? Есть бабушка, только она не здѣсь—она  
меня возьметъ.

— А твоя бабушка богата?

— Я право не знаю! отвѣчала Табарова: я знаю только,  
что если мнѣ у бабушки не хорошо будетъ, то я уйду отъ нея!  
Она улыбнулась.

— Куда, скажи куда? Пристала я, задѣтая улыбкой Вѣры,  
которая показалась мнѣ странной.

— Куда? Я тебѣ когда нибудь послѣ скажу, уклончиво от-  
вѣчала она и захохотала.

— Нѣтъ, ты скажи теперь? Что это, Вѣра, какъ ты хоро-  
шо смѣешься!

— Я тебѣ говорю, что послѣ... Ну не сердись; сказать по  
правдѣ, я и сама хорошо не знаю... да хоть въ актрисы пойду...  
Довольна ты теперь? Да пойдёмъ-же—что за охота на одномъ  
мѣстѣ стоять!

Я бы ужаснулась отвѣту Вѣры, еслибы не приняла его за  
шутку, сказанную, чтобы подразнить меня за мое излишнее лю-  
бопытство, и потому смолчала. Я и не могла принять ея словъ  
за серьезныя: актрисъ насъ учили считать потерянными женщи-  
нами, окаянными грѣшницами, которымъ нѣтъ и не будетъ про-  
щенія ни на этомъ, ни на томъ свѣтѣ.

Мы опять принялись ходить взадъ и впередъ. Я теперь не  
только согрѣлась—мнѣ казалось, что я вся горю. Табарова  
стала что-то рассказывать про Адамсъ и другихъ классныхъ  
дамъ, но я не слушала, а только думала о томъ, какъ бы по-  
скорѣе звонокъ къ ужину, послѣ котораго я лягу въ постель и  
засну. А завтра—завтра дежурство Катерины Федоровны—она  
отпуститъ меня дня на два въ больницу, больше мнѣ не нужно...  
черезъ два дня пройдетъ, конечно, и головная боль и боль въ  
боку.

Наконецъ звонокъ къ ужину раздался. Съ минуту въ аллеяхъ  
и цвѣтникахъ установилась невообразимая суматоха: зеленныя,



коричневныя и сѣрыя заматались не хуже испуганнаго муравейника. Но вотъ порядокъ водворенъ и стройныя пары длинными змѣями тянутся по направленію къ парадному входу, потомъ въ швейцарскую, оттуда на лѣстницу въ корридоръ, а затѣмъ въ столовую. Тутъ змѣи, подходя къ столамъ, раздвигаются вдоль на двое и каждая половина проходитъ между столами и скамьями, стоящими около него. Тихо и чинно движутся впередъ воспитанницы, разговоры умолкли—этого требуетъ школьная дисциплина.

Когда всѣ классы оказались въ сборѣ снова, раздался звонокъ—къ молитвѣ—и хоръ въ нѣсколько сотъ голосовъ запѣлъ: „На тя, Господи, уповаемъ!“ Послѣ этого засновали „няньки“, нагруженные грязными оловянными подносами, уставленными еще болѣе грязными глиняными кружками, изъ которыхъ расплескивалась едва теплая, мутноватая, коричневая жидкость—чай.

Я хоть рѣдко, но случалось, пивала этотъ чай; сегодня мнѣ ничего не хотѣлось; я даже не взяла своей булки, которою тотчасъ-же воспользовалась Ильина, никогда не бывшая сытою, несмотря на всѣ присылки съѣстнаго изъ дому. Я устало мечтала о томъ, что не больше, какъ черезъ полчаса, все это кончится и я отдохну. Кружка съ чаемъ окончательно выстывала передо мною нетронутая.

— М-lle Медвѣдева, отчего вы не пьете своего чаю? Надо мною стояла Адамсъ.

— Мнѣ не хочется, Марья Александровна.

— Это что за вздоръ! А потомъ будете говорить, что голодны, что васъ въ институтѣ замариваютъ—ѣсть не даютъ... Сейчасъ извольте пить!

— Да я, наконецъ, не хочу этой бурды! вырвалось у меня досадливое восклицаніе. Цѣлый день выносила я всякія нападки стойко и молчаливо..., теперь-же—отъ пустяка въ сущности—мое терпѣніе лопнуло; я чувствовала, что начинаю дрожать со злости и что, скажи Адамсъ еще одно слово, и я совершенно потеряю самообладаніе.

— Бурда! Бурда! Это еще что за выраженіе? ужаснулась Адамсъ: — я думаю, что тамъ, гдѣ вы провели свое дѣтство, пока васъ не взяла ваша тетушка, и гдѣ научились такимъ словцамъ, у васъ, можетъ быть, не каждый день была такая „бурда“—faites donc la petite bouche—это очень идетъ вамъ!

— М-lle Адамсъ, перестаньте!... Я вамъ сейчасъ наговорю



дерзостей... Какое вамъ дѣло, гдѣ и какъ я воспитывалась! Вы не имѣете права упрекать меня домашней обстановкой, какая-бы она ни была... Вы не смѣете! Нервы мои не выдержали и я заплакала.

Адамсъ побагровѣла.

— Медвѣдева, вы забываетесь! Извольте сію минуту, за грубости, стать посреди столовой!

— Ну, ужъ нѣтъ! Выпускныхъ такъ не наказываютъ... Стоять посреди столовой я не намѣрена: я не приготовишка! Встаньте сами, если вамъ хочется...

— Я вамъ приказываю!... Слышите!

— А я слышу и не слушаюсь... я не заслужила такого позора... Я вамъ ничего не сдѣлала... что это вы все ко мнѣ пристааете!...

— А... вы не хотите, дрянная дѣвчонка! Наставница хватаетъ меня за плечо и старается вытащить меня изъ-за лавки на середину столовой. Я сопротивляюсь изо всѣхъ силъ—начинается безобразная борьба... я уже громко плачу отъ оскорбленія и стыда... Кругомъ полуподавленный говоръ... Вдругъ суматоха прекращается—вошла начальница, аккуратно каждый вечеръ посѣщающая столовую.

— Что здѣсь такое? раздается ея испуганный вопросъ.

Адамсъ сразу дѣлаетъ кроткое лицо. Но я, „дрянная дѣвчонка“, не такъ владѣю собою—волосы мои растрепаны, перинка съѣхала на бокъ, по пылающему лицу еще катятся слезы—я стремительно обращаюсь къ начальницѣ:

— Меня мучаютъ здѣсь! Зачѣмъ она пристаётъ ко мнѣ? Какое ей дѣло до того, пью я чай или нѣтъ? Какое она имѣетъ право упрекать меня моимъ домомъ, родными, бѣдностью?

— Ш-шъ, ш-шъ!... успокойтесь, Медвѣдева! М-лле Адамсъ, въ чемъ дѣло?

— Это все старая исторія, chère maman! торопится отвѣтить классная дама:—m-lle Медвѣдева fait la dégoûtée... Какой примѣръ для другихъ! Съ нѣкотораго времени только и слышно, что плохъ чай, плохъ завтракъ, плохъ обѣдъ... Когда онѣ за все должны-бы были благодарить!... Я рѣшила положить конецъ этому въ своемъ классѣ: faire un exemple...

Она нѣсколько отошла отъ стола. Начальница нѣмнѣе взглянула ей въ лицо и очень тихо сказала:

— Марья Александровна, вѣдь мы съ вами не стали-бы пить



этого чаю... Вы знаете, что дѣтей дѣйствительно плохо кормить... и не по недостатку средствъ... это несчастье, которому я, пока, помочь не въ силахъ... Вы знаете, чего стоитъ мнѣ борьба въ этомъ отношеніи! Еще тише начальница прибавила: — наказывать публично выпускныхъ не слѣдуетъ — *c'est un scandale* — черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онѣ выйдутъ изъ института и многія изъ нихъ будутъ сами наставницами... Публичныя наказанія въ ихъ возрастѣ слишкомъ уязвляютъ самолюбіе — эгрируютъ... А что можетъ быть несчастнѣе, какъ *un caractère aigri*! Я попрошу васъ прислать Медвѣдеву ко мнѣ послѣ ужина... я поговорю съ ней...

— О, маман! Она вѣдь даже вамъ, такому ангелу, въ состояніи наговорить грубостей!...

— Нѣтъ, не наговорить!... перебила ее начальница.

Разговоръ этотъ, какъ ни тихо онъ велся, я слышала: я была неестественно возбуждена. Я сидѣла облокотясь на столъ и спрятавъ голову въ руки. Подруги мои молчали; только изрѣдка раздавался шопотъ: — „вѣдьма, поганая, буйлица! Неужели маман ее послушается? Бѣдная Паня! Бѣдная Медвѣдева!“

Начальница отошла отъ нашего класса и пошла по столовой въ сопровожденіи Адамсъ. Какъ только она нѣсколько отдалась — за нашимъ столомъ поднялись самые горячіе разговоры: меня засыпали кучей вопросовъ и соболѣзнованій; я упрямо отмалчивалась: меня душили злость и обида. Мнѣ невыносимо было, что и за сосѣдними столами и въ другихъ классахъ толкуютъ обо мнѣ. Я чувствовала, хотя и не видѣла, что сотни глазъ украдкой смотрятъ именно въ мою сторону.

Наконецъ Адамсъ вернулась и тотчасъ обратилась ко мнѣ:

— М-ше Медвѣдева, вы прямо изъ столовой отправитесь къ маман — и услышите тамъ, что заслуживаете! Господи, когда это все кончится! думала я, пока хоръ звонко пѣлъ: „Благодаримъ тя, Христе Боже нашъ, яко насытилъ еси насъ земныхъ твоихъ благъ!“

Ужинъ былъ конченъ: классы направились къ спальнямъ, помѣщавшимся двумя этажами выше. Я осталась одна въ полутемномъ корридорѣ и медленно пошла къ начальницинной квартирѣ. Мнѣ сдѣлалось жутко въ полумракѣ и тишинѣ; все теперь казалось инымъ, чѣмъ тогда, когда я проходила здѣсь со всѣмъ классомъ или днемъ. Шумъ отъ удалявшихся воспитанницъ едва доносился до меня — вотъ онъ совсѣмъ умолкъ.



Но что это скребется тамъ, въ темномъ углу? Крысы! Я очень не любила ихъ. Вотъ показалась одна, большая... она осторожно пробирается по направленію къ столовой... Вотъ еще одна, двѣ три... пять меньшихъ идутъ за большою, первую... чинно, гуськомъ... Я подобрала юбки и пошла скорѣе. Это еще что такое? Блестящее, быстрое? Боже мой, да это тараканы: черные, гладкіе, жирные! И они бѣгутъ въ столовую, и ихъ тамъ пиръ ждетъ.

Я перешагнула черезъ таракановъ, бѣгомъ пустилась впередъ и, вся запыхавшись, остановилась у начальницинныхъ дверей. Сердце мое сильно билось, какъ отъ того, что я бѣжала, такъ и отъ мысли о томъ, что меня ожидаетъ у татап—гнѣвъ или милость? Гнѣвъ, гнѣвъ! думала я: милости ждать не за что, да и не отъ кого. „Господи, помини царя Давида и всю кротость его!“ нѣсколько разъ прошептала я употребительную между нами форму заговора противъ начальственнаго гнѣва. Нѣсколько успокоившись, я взялась за ручку двери, она туго подавалась; я нетерпѣливо рванула ее—и отступила назадъ въ испугъ. Въ широко распахнувшуюся дверь я увидѣла, что пріемная комната противъ обыкновенія ярко освѣщена и что тамъ стоитъ М-г Жеан, племянникъ начальницы, поправляя прическу передъ зеркаломъ. Я хотѣла бѣжать, но онъ слышалъ скрипъ двери, сразу обернулся въ мою сторону и шаркался.

— Я къ начальницѣ, сказала я присѣдая.

— Къ ma tante, я сейчасъ ей скажу, Mademoiselle! Онъ бѣгомъ бросился въ сосѣднюю комнату и я слышала, какъ онъ говорилъ.

— Ma tante, васъ желаетъ видѣть прелестъ, изуродованная, конечно, этими безобразными костюмомъ и прической...

— Замолчи, пожалуйста, Жеан, сердито возразила начальница, ты вѣчно вздоръ мелешь.

— И бѣдные глазки ея заплаканы!...

— Я не шучу, Жеан, перебила его тетка: уйди отсюда, ты мнѣ мѣшаешь.

Черезъ минуту Софья Ивановна вышла въ пріемную и сказала мнѣ:

— Медвѣдова, venez ici mon enfant.

Я вздрогнула: какъ странно звучали для меня эти ласковыя слова. Я ожидала по меньшей мѣрѣ строгаго тона. Я вошла



въ кабинетъ татапа. Онъ былъ уже знакомъ мнѣ, хотя для выговоровъ меня сюда еще не звали. Направо большой письменный столъ съ конторками; высокое трюмо между оконъ; въ углу стеклянный шкафъ съ книгами и бумагами, въ другомъ мягкая кушетка и около нея два низкихъ кресла по сторонамъ пестраго мозаичнаго столика; по стѣнамъ—картины пастелью и акварелью, работа слѣдовавшихъ изъ года въ годъ другъ за другомъ классовъ. На полу, на стѣнахъ, на столахъ и этажеркахъ—всюду, самыя разнообразныя бездѣлушки: коврики, корзинки, *cache-désordre*, салфетки..., представлявшія бо-  
гѣе, нежели одинъ день и изъ моей короткой жизни.

Изъ сосѣдней залы глухо доносились разговоры, смѣхъ, на-  
страиваніе музыкальныхъ инструментовъ. Въ кабинетѣ было свѣтло, свѣжо и пахло живыми цвѣтами отъ огромнаго букета на письменномъ столѣ.

Матапа ради именинъ своихъ была особенно парадна: новое синее шелковое платье, бѣлая кружевная косынка чуть не до полу и дорогой кружевной-же бѣлый чепецъ чрезвычайно шли ея красивой и величавой старости.

Она прошлаъ раза два по комнатѣ, шурша тяжелымъ шелкомъ своего платья и потомъ обратилась ко мнѣ: „Полинь!“ Господи, она называетъ меня по имени!

— Дитя мое, почему вы такъ злобно относитесь ко всему тому, что васъ окружаетъ? Бѣдное дитя, вы мучите и себя и другихъ! Скажите мнѣ—почему это?

Я приготовилась къ строгости—доброта встрѣтила меня безоружной. Я тихонько заплакала. И почему она ставитъ вопросъ такъ. Я досадовала на Адамсъ, я вовсе не всѣхъ ненавидѣла... Я совсѣмъ не ожидала, что татапа повернетъ дѣло въ такую сторону.

Начальница вопросительно смотрѣла мнѣ въ глаза, ожидая моего отвѣта.

— Развѣ я всѣхъ ненавижу?.. Начала я:

— Я люблю подругъ, Катерину Ѳедоровну..., но м-лле Адамсъ мучить меня, оскорбляетъ, старается унижить!..

— Нѣтъ, у васъ несчастный характеръ! перебила татапа: *Vous êtes aigrie!* хотя я не понимаю чѣмъ... Очень можетъ быть, что м-лле Адамсъ строга съ вами, но вѣдь это для вашей собственной пользы. Какъ ни тяжело говорить объ этомъ, вѣдь вы, *ma chère enfant*, дѣвушка бѣдная и васъ ждетъ



не веселая будущность... Я теперь и позвала васъ сюда для того, чтобы серьезно переговорить съ вами объ этомъ. Отецъ вашъ, по всей вѣроятности, уже постригся въ монахи или очень скоро пострижется... такъ сообщала мнѣ въ своемъ послѣднемъ письмѣ ваша тетюшка, М-ше Медвѣдова... Я болѣю сердцемъ о каждой изъ васъ... вы не должны увлекаться мечтами вашихъ подружекъ о роскоши и удовольствіяхъ. Большинство нашихъ воспитанницъ богаты—вы бѣдны. Я писала о васъ М-ше Медвѣдовой и спрашивала, что дѣлать съ вами послѣ выпуска. Если отецъ вашъ поступитъ въ монастырь, ему нельзя будетъ взять васъ; у васъ осталась только ваша тетюшка Медвѣдова—другихъ вашихъ родныхъ я не знаю... Она отдавала васъ въ институтъ... но она вамъ не родная тетка?

— Нѣтъ, только двоюродная...

— Ну, вотъ видите-ли, отъ нея даже и требовать нельзя, *qu'elle se charge de vous*—у нея самой двѣ взрослые дочери... да вы и не сумѣли возбудить въ ней любви къ себѣ... вы не умѣли—ну, какъ бы это сказать?—смириться, понять, что дѣвушка въ вашемъ положеніи должна: „заслужить, искать...“. Знаете, есть такая русская пословица: ласковый теленокъ двухъ матерей сосетъ! Ну да что теперь говорить объ этомъ... Но я вамъ опять повторяю: вамъ придется работать, дитя мое... Я вижу, что вамъ тяжела эта мысль, но что-же дѣлать?

Мнѣ было дѣйствительно тяжело слушать эти повторенія о томъ, что я бѣдна, одинока и брошена отцомъ на произволъ судьбы или дальнихъ родственниковъ, у которыхъ свои семьи, свои дѣла и заботы... и у которыхъ я не сумѣла или не захотѣла „искать!“

— Вамъ придется работать, между тѣмъ продолжала ташапъ: а съ эгриваннымъ характеромъ вамъ вдвое тяжелѣе будетъ трудъ и къ тому-же трудъ между чужими людьми...

— Мамочка, ты все еще занята, дорогая!

Дверь противоположная той, въ которую я вошла, отворилась на половину и въ кабинетъ вбѣжала, или скорѣе впрорхнула, молодая женщина лѣтъ двадцати.

Она черезъ плечо кивнула мнѣ головой въ то время, какъ я присѣла ей! Это была недавно вышедшая замужъ дочь начальницы, которую Адамъ всегда выставляла намъ въ примѣръ всякихъ совершенствъ, прибавляя: „une si charmante personne—настоящая севрская куколка!“



— Мама, обратилась она къ Софьѣ Ивановнѣ: намъ скучно безъ тебя... сегодня твои именины... разъ въ году, понимаешь! А ты все хлопочешь. Michel сказалъ, что не будетъ возить меня къ тебѣ, если ты сама не хочешь насъ знать, когда мы здѣсь бываемъ...

— Сейчасъ, Marie, сейчасъ!

Marie стала передъ зеркаломъ и начала поправлять розовое газовое платье, граціозно облегавшее ея стройный станъ. Вдругъ она упрямо тряхнула маленькой головкой, едва умѣщавшей густую каштановую косу, изъ подъ которой выбѣгало на открытый затылокъ два пушистыхъ локона.

— Ну, мамочка... Ты даже говорить со мной не хочешь... Какъ это скучно! Если ты сейчасъ не придешь, то я разсержусь и мы уѣдемъ, такъ и знай!

Она опять точно вспорхнула, на лету обняла мать, кивнула мнѣ головой и исчезла въ ту-же дверь, черезъ которую пришла.

— Вы бѣдная дѣвушка, продолжала маман, вамъ суждено провести жизнь въ трудахъ и заботахъ... вамъ слѣдуетъ приготовиться къ этому — измѣниться, иначе вашъ несчастный характеръ не дастъ вамъ нигдѣ успокоиться. Я вѣдь знаю, какъ даже въ вашемъ дѣтствѣ было трудно ладить съ вами — тетушка ваша предупредила объ этомъ меня и Марью Александровну. Мы въ теченіе всего вашего пребыванія здѣсь старались исправить васъ — неужели-же мы ничего не достигли? А вѣдь вамъ Богъ умъ и способности далъ!..

— Ma tante, ma tante, ma tante, мы ждемъ!

— Ахъ, Жанъ, да отстаньте!

Мнѣ вдругъ сдѣлалось очень смѣшно, особенно, когда представительная маман такъ отгрызнулась отъ племянника и затѣмъ съ прежнимъ чувствомъ и тою-же печальною улыбкой продолжала уговаривать меня:

— Мы пришли почти въ отчаяніе съ вами — положимъ вы хорошо учитесь, но развѣ этого достаточно для хорошей наставницы — а вамъ именно этотъ путь придется избрать. Для хорошей наставницы, главнымъ образомъ, нужна нравственность, хорошее поведеніе, а вы себя ведете не хорошо: дерзки, капризны... Смотрите, въ какую вы насъ ставите альтернативу: или совсѣмъ лишить васъ диплома или прописать дурную нравственность... а тогда васъ и въ няньки никто не возьметъ!

— Значитъ я должна буду умирать съ голоду! вырвалось у меня...



— Отъ самой васъ будетъ зависѣть... какъ-то сконфуженно отвѣтила татап: Если вы исправитесь, то конечно...

— Мамочка, ни ѣдемъ!

Дверь распахнулась вполнѣ: въ ней стояла Магіе; изъ за нея я увидѣла рядъ освѣщенныхъ комнатъ, въ которыхъ толпились гости. Вдругъ загремѣла праздничная, веселая, шумная музика.

— Сейчасъ, сейчасъ! Идите, M-elle Медвѣдова... Я не желаю вамъ зла, дитя мое, но справедливость можетъ заставить меня быть строже съ вами, нежели я сама бы того желала... Помните-же, какъ важна особенно для васъ хорошая аттестація отъ заведенія. Я бы еще поговорила съ вами и, надѣюсь, убѣдила бы васъ, но мнѣ некогда теперь... Итакъ adieu, mon enfant!

Я присѣла татап и задумчиво вышла. Да, мнѣ предназначено жить своимъ трудомъ. Какъ странно, что я объ этомъ до сихъ поръ такъ мало думала, а вѣдь знала, ахъ какъ хорошо знала, что я бѣдна и заброшена.

Когда я вернулась въ дортуаръ, большинство подругъ моихъ давно уже спало. Что касается меня, то я не могла заснуть. Все происходившее въ этотъ день снова мысленно проходило передо мною. Сначала эти сочиненія и отношеніе къ нимъ Антона Алексѣевича, потомъ столкновенія съ Адамсъ, въ которыхъ прорвалось давно накипѣвшее во мнѣ раздраженіе и которыя точно вѣтромъ свѣяли далеко прочь дорогія воспоминанія дѣтства и все лучшія чувства пробужденія во мнѣ разговоромъ съ Антономъ Алексѣвичемъ. Потомъ проповѣдь начальницы и все, что у нея видѣла и слышала... Нѣтъ, я теперь не о мирныхъ дняхъ дѣтства думала: у меня совсѣмъ другимъ была наполнена голова. И этотъ м-г Жан! Онъ сказалъ, что я „пре-лестъ!“ Я даже покраснѣла, вспомнивъ это. Но онъ прибавилъ, что меня уродуетъ прическа... все это Адамсъ велитъ начесывать волосы на самыя брови... Ни за что не позволить открыть лба! Какой смѣшной м-г Жан..., не-добрый: онъ бѣгомъ побѣжалъ изъ-за меня къ теткѣ въ кабинетъ... Еще никто никогда не бросался бѣгомъ, чтобы услужить мнѣ... И онъ похвалилъ меня... Но можетъ быть онъ шутилъ или смѣялся надо мною? Ахъ, какъ-бы я хотѣла въ самомъ дѣлѣ быть красивой... и богатой... и могущественной! Тогда... тогда-бы я отомстила всѣмъ тѣмъ, кто меня мучилъ! Адамсъ... Нѣтъ, Адамсъ не



стоитъ — она дура! Довольно ей того изказанія, что она всю жизнь свою останется здѣсь, въ институтѣ... Я когда-нибудь выйду-же на волю, на просторъ... а она все будетъ здѣсь то порщиться, браниться, переходить съ своимъ классомъ изъ дортуара въ столовую, изъ столовой въ садъ, и такъ далѣе, и до тѣхъ поръ, пока состарится... Нѣтъ, это не стоитъ того, чтобы ей мстить... А какъ ей замужъ хочется! И никто-то ее не беретъ... А я? Выйду я замужъ послѣ выпуска? Вѣрно, да! Какой онъ будетъ? Похожъ-ли на ш-г Жеан или нѣтъ? Нѣтъ, я хочу, чтобы онъ былъ черноволосый и кудрявый и чтобы у него были черные, огненные глаза. Но вѣдь и ш-г Жеан очень хорошъ, хотя у него и бѣлокурные волосы... Только какъ свѣшонъ проборъ на затылкѣ! У него свѣтлые... голубые или свѣтло-зеленые глаза? Да я спрошу у Вари... вѣдь она тамъ, у шаша... Она приглашена вмѣстѣ съ Катериной Федоровной.

Меня вдругъ всю охватило завистливое, злое чувство. Отчего меня тамъ нѣтъ, тамъ такъ весело! Оттого, что я ничтожная, бѣдная дѣвушка. Ахъ, если-бы мнѣ богатство! Чтобы я сдѣлала, еслибы была очень богата? Я пристыдила бы всѣхъ тѣхъ, кто меня мучилъ. Я хотѣла-бы, чтобы тогда мои богатые родственники обѣднѣли... я благодѣтельствовала-бы имъ, но не такъ, какъ они мнѣ... я не дѣлала-бы своихъ благодѣяній горькими... А еще что бы я сдѣлала? Я поѣхала-бы туда, гдѣ отецъ мой, въ этотъ далекій монастырь... Я бросилась-бы на колѣни передъ отцомъ, я умолила-бы его вернуться, не покидать меня больше... вѣдь я одна, совсѣмъ одна въ цѣломъ свѣтѣ....

Что сказалъ-бы Антонъ Алексѣевичъ, еслибы кто-нибудь пересказалъ ему то, что я теперь думала и чувствовала. Онъ вѣроятно пришелъ-бы въ ужасъ. Точно отраву какую-то влило въ меня все то, что я видѣла и слышала у начальницы. Даже къ отцу я рвалась не потому, что любила его, а потому что знала, что будь я съ нимъ, я не была-бы такъ одинока и несчастна.

Наконецъ я заснула.

На другой день я была не въ силахъ встать безъ чужой помощи. Подруги кое-какъ одѣли меня и Катерина Федоровна еще до молитвы отвела меня въ больницу. Ничего у меня теперь не болѣло, но я чувствовала себя до того слабой, что съ трудомъ двигалась. Въ больницу меня тотчасъ уложили въ постель, напоили чѣмъ-то теплымъ и оставили въ покоѣ, чего мнѣ всего больше хотѣлось. Я проспала все утро, весь день и проспала



только подъ вечеръ. Открывъ глаза я увидѣла около своей постели Варю Тардѣву. Она заботливо освѣдомилась о моемъ здоровьѣ и видя, что я едва могу говорить, только поцѣловала меня и ушла. Ночью у меня начался бредъ, а потомъ наступило полное безпамятство.

### ХІІІ.

Поступая въ больницу я думала, что пробуду тамъ дня три, но осталась гораздо дольше. У меня оказалось какое-то осложненное воспаленіе. Выздоровленіе мое было медленное, я была очень слаба, но того печальнаго нравственнаго состоянія, которое я испытывала до болѣзни и слѣда не оставалось. Я никогда-бы раньше не могла и предположить, что больной человѣкъ можетъ быть такъ покоенъ и даже счастливъ. Причиной этого хорошаго душевнаго состоянія, было, между прочимъ, и слѣдующее обстоятельство. Когда я послѣ бреда и безпамятства наконецъ вполнѣ пришла въ себя, я увидѣла около своей постели маленькую, пухленькую старушку, лицо которой показалось мнѣ чрезвычайно знакомымъ, хотя я навѣрно знала, что не встрѣчала ее до сихъ поръ въ институтѣ. Я съ недоумѣніемъ посмотрѣла на нее; она улыбнулась и проговорила:

— Ну, что, опомнилась, маточка? Слава тебѣ Господи! Такъ докторъ и говорилъ, что не нынче—завтра въ себя придешь... Ну, лучше тебѣ?

— Да лучше! слабо проговорила я.

— А меня узнала?

— Н-нѣтъ, кто вы?

— Ай-ай! Анну Игнатьевну позабыла—ахъ нехорошо!

— Анна Игнатьевна, милая! Неужели это вы? Какъ вы сюда попали?

— Ахъ маточка! Анна Игнатьевна вдругъ заплакала: Черезъ горе... вѣдь овдовѣла я, вотъ скоро годъ... Ну, да что я въ самомъ дѣлѣ больного человѣка тревожу... Вотъ поправилъсь, я тебѣ все расскажу.

Она вытерла глаза и захопотала о томъ, чтобы напоить меня чаемъ. Я съ наслажденіемъ вынула его и заснула крѣпкимъ, хорошимъ сномъ.

Когда я настолько поправилась, что по мнѣнію Анны Игнатьевны могла слушать ее, она рассказала мнѣ свое горе.



Проживъ нѣсколько лѣтъ счастливо въ Нижнемъ Новгородѣ съ мужемъ, она потеряла его. Онъ скоропостижно умеръ и она осталась одинокою и въ бѣдности, такъ какъ состоянія ни у нея, ни у мужа не было. Она уѣхала тогда къ сестрѣ своей, Еленѣ Игнатьевнѣ, съ намѣреніемъ поселиться съ нею. „Вѣришь-ли“, рассказывала мнѣ Анна Игнатьевна; „полугода вѣдь не могла я съ ней выжить, а ужъ на что уживчива я; да и то сказать еще и въ горѣ, а въ горѣ и злой челоувѣкъ куда смиренъ становится, я же, какъ знаешь, и не въ горѣ смирна... И нѣтъ того слова, чтобы она мнѣ въ обиду не говорила... и объѣдаюто я ее, и обшиваю... и все такое! Ну, собрала я послѣднія крохи, отдала ей за все, да къ дяденькѣ своему, Ильѣ Михайловичу Медвѣдеву, да ему въ ножки: помоги, молю батюшка, опредѣли куда на казенное мѣсто... вѣкъ буду Бога молить, а работой мы не постоимъ—довольны будутъ. Вотъ, спасибо ему, и схлопоталъ меня сюда въ лазаретныя помощницы... а я и рада: знаю, что и ты тутъ-же, моя голубочка! Привели меня въ палаты, такъ и такъ, говорятъ, давайте лекарства... больныхъ показываютъ... глядь, а надъ одной-то постелькой и написано на дощечкѣ: „Прасковья Медвѣдова“. А то-бы и не узнала, пожалуй: выросла ты, перемѣнилась. Ну, ужъ я никому за тобой ходить не давала. И поплакала же я надъ тобою, жалко было, плоха ты очень была!

Я блаженно улыбалась, слушая рѣчи милой старушки. Переселеніе ея въ институтъ было для меня большимъ счастьемъ. Пока я лежала въ постели, она ухаживала за мною, какъ родная, а когда мнѣ позволили встать, она выпросила для меня у доктора дозволеніе проводить большую часть дня въ ея комнатѣ. Какъ мила была эта комнатка. Я прежде никогда не бывала въ ней, а между тѣмъ, когда вошла въ нее въ первый разъ, на меня отъ нея повѣяло чѣмъ-то давно знакомымъ, хорошимъ, не казенною голью и холодомъ. Вся она была завѣшана картинками и фотографіями и заставлена грошовыми бездѣлушками, которыми Анна Игнатьевна дорожила, какъ воспоминаніями счастливаго прошлаго. На окнахъ цвѣли бальзамины и вился восковой плющъ. На стѣнѣ висѣли знакомые мнѣ часы, и нѣвныя привычку грозно шипѣть передъ боемъ. Нѣсколько канареекъ прыгало и заливалось въ садкѣ. Солнце весело играло сквозь зелень на окнахъ и въ его лучахъ хлопотала маленькая сѣдая старушка, юркая и веселая, только по временамъ снани-



вавшая съ глазъ слезы, когда что нибудь напоминало ей дорогого покойника.

Мнѣ было очень хорошо въ этой комнаткѣ, такой уютной и жилой, какъ будто Анна Игнатьевна провела въ ней уже годы, а не нѣсколько недѣль. Мнѣ было пока запрещено заниматься письмомъ или чтеніемъ; да мнѣ и не до того было. Я сидѣла по цѣлымъ часамъ въ старинномъ креслѣ, которое откуда-то нарочно для меня добыла Анна Игнатьевна... сидѣла и мечтала. О чемъ? Я бы теперь не могла и сказать. Иногда заглядывала та или другая изъ подругъ. Онѣ смѣясь тараторили о классныхъ сплетняхъ, ругали нашего общаго врага, Адамсъ, насмѣхались надъ учителями. Но все это мало интересовало меня и казалось такимъ далекимъ и чуждымъ, что я иногда про себя удивлялась, зачѣмъ онѣ мнѣ все это говорятъ и какъ не понимаютъ, что нѣтъ мнѣ до этого никакого дѣла. Только приходу Вари Тардѣвой я радовалась, но и ея разговоры мало занимали меня, какъ только переходили на почву институтской жизни. Разъ она рассказала мнѣ о томъ, что на институтскомъ ежегодномъ балѣ, на которомъ мнѣ на этотъ разъ не пришлось присутствовать, М-г Жан много танцевалъ съ Табаровой, но я только два раза зѣвнула въ отвѣтъ на это сообщеніе.

Теперь мнѣ вполне понятно, почему такъ мало занималъ меня институтъ и его жизнь, въ искусственности и пустотѣ которой я въ то время конечно не отдавала себѣ вовсе отчета. Живая правда, хотя бы и узенькаго душевнаго мірка Анны Игнатьевны, заслоняла эту жизнь заведенія и влекла меня къ себѣ съ обязательной, непобѣдимой силой. Я съ наслажденіемъ вливала рассказы доброй старушки о старомъ, дорогомъ семейномъ гнѣздѣ моемъ, теперь разоренномъ и исчезнувшемъ съ лица земли. Чего-чего не знала о семьѣ моей Анна Игнатьевна. Главнымъ образомъ изъ ея рассказовъ составилось у меня понятіе о родѣ, послѣднимъ оскротѣлымъ отросткомъ котораго была я. Я интересовалась мѣлкими подробностями моей семейной исторіи и всецѣло переносилась въ прошлое. Иногда мнѣ чудилось, что я опять маленькая дѣвочка и живу въ родной Томиловкѣ, забываю, что я можетъ быть даже никогда больше и не увижу ее, что давно живутъ въ ней чужіе люди и что, должно быть, она и сама стала теперь совсѣмъ чужая. Даже когда Анна Игнатьевна переставала рассказывать, я продолжала жить въ прошломъ.



## XIV.

Медленность моего выздоровленія зависѣла отъ того, что я, какъ и большинство моихъ подругъ, была вообще здоровья не ерѣпкаго. Теперь къ этому прибавилось еще и то, что я начала расти, да такъ сильно, что Анна Игнатьевна только руками всплеснула, когда мнѣ въ первый разъ было позволено снять лазаретный халатъ и надѣть платье; оно оказалось настолько коротко, что я сама не могла удержаться отъ смѣха. Аппетитъ у меня былъ ужасный, „настоящій собачій голодъ“, говорила моя добрая старушка. Я положительно объѣдала ее, мнѣ далеко не хватало моей казенной порціи. Анна Игнатьевна поила меня своимъ чаемъ и кофеемъ и я, поглощая ея булки, и молоко, и свѣжія яйца, съ такою завистью смотрѣла на то, что она сама ѣстъ, что она иногда съ пресерьезнымъ видомъ меня крестила, думая про себя ужъ не всадились-ли въ меня что недоброе.

Подруги продолжали навѣщать меня; чаще всего приходили Варя и Табарова. Варя теперь всегда была грустна: Адамъ перенесла на нее свою ненависть ко мнѣ и не давала ей покою. Это было единственною горькою каплею въ чашѣ моего счастья, потому что я теперь чувствовала себя очень счастливою у Анны Игнатьевны, лелѣвшей меня точно дома, въ семьѣ родной. Разказы Табаровой касались тоже и Адамъ и внутренней жизни класса. Разъ она прибѣжала, взволнованная и безъ передника.

— Вѣра, что ты надѣлала? Ужаснулась я: передникъ отнимали у насъ въ видѣ строгаго наказанія.

— Молчи, молчи, душка! Дай отдохнуть минутку—я такъ бѣжала, такъ бѣжала, чтобъ не попасться буйлицѣ!... Ну, да ей не до меня... Ахъ, что у насъ сегодня дѣлается, ты себя и представить не можешь! Знаешь, намъ уже третью недѣлю даютъ все винигреть, да размазю на завтракъ—голодъ такой!.. Подумай: по средамъ и пятницамъ весь этотъ длинный Рождественскій постъ постимся, а во всѣ остальные дни все размазня, да размазня!.. Ну, мы и сговорились: взяли сегодня и отослали блюда нетронутыми... Ахъ, ты себя представить не можешь, какъ это было весело! Всѣ „синявки“ всполошились, забѣгали,—от-



правили посла къ Манухѣ—начальницѣ, та сейчасъ на всѣхъ парусахъ прилетѣла въ столовую. А еще раньше пепиньерочная старица приплелась. Ой, да вѣдь ты еще не знаешь — это мы такъ прозвали съ сегодняшняго дня Софью Ивановну Богданову. Кто ей-то ужъ обо всѣмъ донесъ—не знаю... И, ахъ!..“

Табарова залилась неудержимымъ смѣхомъ:

— Ахъ, если-бы ты видѣла, что тутъ случилось! Знаешь вѣдь какая жадная Ильина — на силу мы ее уговорили отказаться отъ винигрета и размазни—и вотъ какъ разъ надъ ней-то бѣда и стряслась: сидитъ она, знаешь, и смотритъ на блюда, а ихъ опять, видишь, велѣли изъ кухни назадъ принести и на столахъ поставить... Смотритъ Ильина на блюда завистливо такъ... вдругъ подбѣгаетъ къ ней старица: „Ты отчего не ѣшь?“ И выбрала-же ее какъ разъ!.. А у той слезы на глазахъ: „не хочу!“—говоритъ, самой-же смерть хочется. Какъ задрезжитъ Софья Ивановна на всю столовую: „Горе творящимъ соблазнъ!“ Схватила ложкой размазни и пихаетъ ее въ ротъ Ильиной: та было сжала губы, да какъ каша по бородѣ потекла, она и ну ее облизывать—рада, что хоть капелька ей попала, а сама легонько отъ Софьи Ивановны отбороняется. Ну, эта совсѣмъ разсердилась и вытащила Ильину на средину столовой... Ой!—я думала, что умру отъ смѣху... Ну, потомъ со всѣхъ старшихъ передники сняли и всѣмъ за поведеніе ноль. Зачинщицъ ищутъ — да гдѣ найти! Обѣщали въ наказаніе каждый день и за обѣдомъ размазню давать, да, я думаю, не поспѣютъ!

Я поспѣялась вмѣстѣ съ Табаровой. Я представляла себѣ весь переполохъ и маленькую кривобокую Софью Ивановну Богданову, инспектрису пепиньерокъ <sup>1</sup>, сующую кашу въ ротъ Ильиной. Табарова не умолкала — она была сегодня необыкновенно весела. Я удивлялась тому, что она не идетъ въ классы, которые должны были уже начаться, такъ какъ было больше двухъ часовъ.

— Вѣра, тебѣ пора, напомнила я ей объ этомъ.

— Да нѣтъ-же — вѣдь я эту недѣлю въ руководѣльной; я и выпросилась оттуда къ тебѣ — онѣ тамъ рады, что я ничего

<sup>1</sup> Пепиньерками назывались воспитанницы, оставшіяся еще на нѣкоторое время въ заведеніи въ видѣ помощницъ классныхъ дамъ. Онѣ сами къ то же время продолжали еще учиться, преимущественно педагогикѣ и дидактикѣ.



ниъ не напорту... я и то вчера прорвала кисю на занавѣскахъ, которыя вышиваются для почетнаго опекуна.

Я была довольна присутствіемъ Табаровой — она была такъ весела, что на нее пріятно было смотрѣть; да и кромѣ того — какъ я ни была счастлива, но временами скука бездѣйствія начинала томить меня.

Пока мы болтали, пробило три часа. Вѣра вскочила и подбѣжала къ окну, — оно не было закрашено, какъ окна нашихъ спаленъ и классовъ — по институтскому регламенту мы не ходили въ эту часть зданія безъ особаго дозволенія: здѣсь жили только служащія. Вѣра пыталась отворить форточку — это ей не удавалось: рама примерзла.

— Что ты дѣлаешь, Вѣра? спросила я ее.

— Ахъ, ничего! хочу голубямъ хлѣба бросить, а ниъ сберегла.

Я удивилась: Табарова никогда раньше не выказывала любви къ животнымъ и всегда смѣялась надо мной и Варей за то, что мы прикармливали воробьевъ и голубей въ саду.

Форточка наконецъ подалась: Табарова вынула хлѣбъ изъ кармана и начала бросать его за окно, потомъ стала на стулъ и выглянула въ форточку.

— Вѣра, отойди! увидить кто нибудь — Богъ знаетъ, какъ намъ достанется.

Вдругъ Табарова быстро высунула руку изъ форточки и бросила что-то на улицу.

— Вѣра, право бѣды наживешь съ тобой! Что ты тамъ еще бросаешь?

— Ничего, душка, — это я собачкѣ хлѣба бросила... Никого въ переулкѣ нѣтъ — сама смотри.

Я подошла. Табарова довольно долго и неловко слѣзала со стула, заслоня собой окно.

Когда я выглянула въ форточку, на улицѣ дѣйствительно никого не было.

Табарова принялась меня цѣловать: „Ну милочка, я теперь пойду — въ руководѣльной все-таки показаться надо.“

Минуть черезъ пять послѣ ея ухода въ комнату вошла Катерина Оедоровна Тардѣва.

Я радостно встрѣтила ее, но она взглянула на меня не такъ ласково, какъ обыкновенно, и довольно холодно отвѣтила на мой поцѣлуй.



— Паничка, я вами недовольна! рѣзко выговорила она: кто былъ у васъ адѣсь сейчасъ?

— Подруга была.

— Зачѣмъ она выглядывала изъ форточки?

Я покраснѣла, сама не зная почему.

— Мы кормили хлѣбомъ голубей и собакъ, Катерина Оедоровна.

— Мы... кто мы? Я видала у окна только одну Табарову.

— И я была, Катерина Оедоровна, если виноваты, такъ обѣ.

— Что она выбросила въ окно? Да говорите-же?

— Не знаю, я думаю хлѣбъ собакѣ.

— Я шла по переулку — никакой собаки тамъ не было, а былъ ш-г Жан.

Я закусилла губу. Неужели Вѣра въ него чѣмъ нибудь бросила — да нѣтъ вздоръ! — она не рѣшилась бы.

Катерина Оедоровна вопросительно смотрѣла на меня и не рѣшалась спросить, не записку-ли бросила Табарова; мнѣ-же и въ голову не приходило думать о чемъ нибудь подобномъ.

— Зачѣмъ вы меня разспрашиваете, Катерина Оедоровна, укоризненно замѣтила я ей: — я ничего не видала, а еслибы и видѣла, то не видала бы даже и васъ. Табарова и сама признается, если что нибудь спалила. А племянника начальницъ, право, тамъ не было — я вѣдь смотрѣла въ окно; и вообще что за такая бѣда была бы, еслибы Вѣра и въ ш-г Жан хлѣбомъ бросила? Онъ посмотрѣлъ бы на это, какъ на шалость и больше ничего...

— Хорошо, еслибы больше ничего! сквозь зубы проговорила Катерина Оедоровна: — я боюсь чего нибудь хуже; Табарова совсѣмъ вѣтрена дѣвушка. Неужели ты думаешь, Пани, что я стала бы такъ разспрашивать тебя, еслибы дѣло шло только о шалости? Развѣ я когда нибудь поощряла пересказыванія и сплетни! А теперь прошу тебя: дай мнѣ слово, что ни ты сама, ни подруги, которыя къ тебѣ приходятъ, не будутъ выглядывать изъ этого окна — ты знаешь, что это строго запрещено. Я не хочу лишить тебя права приходить сюда — это было бы жестоко, сама знаю, а между тѣмъ я буду принуждена сдѣлать это, если сегодняшняя сцена повторится.

Я общалась Катеринѣ Оедоровнѣ все, чего она хотѣла, но рѣшительно не могла понять ея безпокойства.



Покончивъ разсужденіе о Табаровой, Катерина Ѳедоровна заговорила о другомъ. Она временами говорила намъ „ты“, но не то грубое „ты“, которое намъ въ младшихъ классахъ приходилось выносить отъ всѣхъ служащихъ, а другое, отъ котораго становилось тепло на сердцахъ.

— Вотъ что, Панночка, сказала она:—ты прихворнула порядкомъ и поправляешься туго, отъ этого занятія твои страдаютъ: оставайся еще на годъ въ выпускномъ классѣ.

— Ахъ, Катерина Ѳедоровна! воскликнула я:—какъ же это еще цѣлый годъ не попасть на волю.

— Ну такъ что-же? Еще успѣешь нажиться на этой волѣ,—еще скажешь, что жизнь твоя здѣсь была счастливымъ временемъ.

Я засмѣялась:—ну только не въ дежурство м-Не Адамсъ.

— Тсъ, тсъ! Я не могу тебѣ позволить злословить ее.

— Отчего вотъ вы, Катерина Ѳедоровна, совсѣмъ другая?

— Другая? Можетъ быть оттого, что условія моей жизни лучше сложились: я независима, захочу и завтра могу оставить институтъ. Я поступила сюда потому, что хоть у меня и есть кое-какія средства—и у Вари тоже, но ихъ было бы слишкомъ мало, чтобы дать моей дѣвочкѣ то образованіе, которое она можетъ получить здѣсь.

— Значитъ, вы оставите институтъ, какъ только Варя кончитъ курсъ?

— Да, и ѣдемъ въ деревню. Я и то боюсь, что городской воздухъ Варѣ вреденъ: она что-то очень стала блѣднѣть.

— Нѣтъ, Катерина Ѳедоровна—это ее Адамсъ мучить! Говорятъ, что теперь Варя ея „souffre douleur“ съ тѣхъ поръ, какъ меня нѣтъ.

— Ну, что за вздоръ! Варя бы мнѣ сказала. И что это всѣ вы представляете Марью Александровну какимъ-то чудовищемъ. Вѣдь я ее съ дѣтства знаю, шесть лѣтъ виѣсть здѣсь же учились. Я потомъ у брата жила, какъ ты говоришь: на волѣ, а бѣдная Марья Александровна сначала послѣ выпуска три года пепиньеркой была и теперь вотъ скоро десять лѣтъ ляжку классной дамы тянетъ. Она бываетъ не въ духѣ просто потому, что все ей здѣсь до одури надоѣло... ну, да и вы, дѣти, въ состояніи хоть кого вывести изъ терпѣнія... одни прозвища, которыми вы всѣхъ награждаете...



— А развѣ ей не идетъ названіе „булици“?.. И она еще прихорашивается!

— Ахъ, Пана, Пана! Ты не понимаешь, каково духовное состояніе человѣка, отживающаго молодость, человѣка въ сущности вовсе не жившаго и надъ которымъ, вдобавокъ, сѣется молодежь... Я говорю, что вашъ возрастъ, поистинѣ, безжалостенъ! Посмотримъ, что еще изъ тебя выйдетъ годамъ къ тридцати-пяти?—Ну, мнѣ пора—обдумай мой совѣтъ и рѣшись на то или другое, а я ужъ потомъ за тебя и съ шапап поговорю. Не забудь тоже, что, оставаясь, ты ни въ какомъ случаѣ не будешь въ классѣ м-ше Адамсъ, такъ какъ она получить въ свое вѣденіе маленькихъ, вновь поступающихъ.

— Знаю, все знаю, Катерина Ѳеодоровна, и подумаю. Пожалуй, что и остаться придется — мнѣ, по настоящему, вѣдь и идти-то некуда. Да вотъ васъ-то не будетъ!

— Ну, не все только и свѣтъ, что въ окошечкѣ! Есть добрые люди помимо меня. Прощай! Она шутливо потрепала меня по щекѣ и ушла.

Мнѣ показалось, что послѣ ея ухода и холодиѣе и темнѣе стало въ комнатѣ.

Обдумавъ совѣтъ Катерины Ѳеодоровны я рѣшила остаться еще на годъ въ институтѣ. Ученье мое порядочно пострадало за эту зиму: на будущій годъ нужно будетъ наверстать потерянное время—теперь-же такъ сладко дать побаловать себя Аннѣ Игнатьевнѣ, такъ пріятно видаться чаще съ Катериной Ѳеодоровной. Ну, и почитать хотѣлось, теперь мнѣ это было уже позволено; книги мнѣ присылалъ Антонъ Алексѣевичъ по своему выбору и я много читала.

Катерина Ѳеодоровна устроила мое дѣло у начальницы. Меня позвали къ ней, чтобы объявить, что мнѣ позволено остаться еще на годъ въ заведеніи. Признаюсь, у меня забилося сердце, когда я вошла въ ту комнату, гдѣ въ первый разъ въ жизни услышала лестный отзывъ о своей наружности отъ такого привлекательнаго „кавалера“, какъ м-г Жан. Не могу сказать однако, чтобы мнѣ захотѣлось увидѣть его самого, да его тутъ и не оказалось. Проходя мимо большого зеркала, я не преминула посмотрѣться въ него. Я себя почти не узнала — такая я была большая, даже плечи мои были шире.

Начальница была на этотъ разъ очень ласкова. Она спросила



меня, чувствую-ли я себя совсѣмъ здоровой, и похвалила меня за желаніе еще пользоваться покровительствомъ института. Затѣмъ она сообщила мнѣ, что получила недавно письмо отъ моей тетушки Медвѣдовой, гдѣ та проситъ извѣстій о моемъ здоровьи и прибавляетъ, что относительно моего отца ничего новаго не знаетъ; онъ все еще въ монастырѣ, хотя иноческаго чина не принялъ. Она думаетъ, что онъ вернется въ міръ.

— Ахъ, еслибы это случилось! воскликнула я.

— Просите Бога объ этомъ, дитя мое, замѣтила Софья Ивановна; Онъ исполняетъ, Всемилостивый, горячія молебны рабъ своихъ.

## XV.

Передъ масляницей меня выпустили изъ лазарета. Въ великомъ посту мы проводили довольно много времени въ церкви и на четвертой недѣлѣ говѣли. Я горячо молилась, чтобы отецъ мой вспомнилъ обо мнѣ и вернулся. Иногда, впрочемъ, мнѣ казалось, что я тяжело грѣшу, прося Бога, чтобы онъ внушилъ отцу моему мысль покинуть тихое монашеское житіе и вернуться въ грѣховный свѣтскій міръ.

Адамсъ какъ-то усмирилась; она совершенно оставила меня въ покоѣ и почти перестала нападать на Варю. Варя была такая-же, какъ всегда. Она была отъ природы тиха и молчалива и оживлялась только тогда, когда могла оказать кому-нибудь помощь или высказать сочувствіе и утѣшеніе.

Послѣ говѣнія, на пятой недѣлѣ, мы отдыхали и менѣе обыкновеннаго учились; мы съ Варей проводили много времени въ комнатѣ Катерины Ѳедоровны. Я читала, Варя рисовала—у нея былъ настоящій талантъ. Катерина Ѳедоровна позволила ей брать частные уроки рисованія и Варя была въ восторгѣ, что ей уже удастся рисовать съ натуры. Пока ей приходилось довольствоваться цвѣтами, но и тутъ выборъ былъ не великъ, такъ какъ весна еще не началась, а тепличныя цвѣты доставать было не легко, вслѣдствіе ихъ дороговизны; поэтому всякій разъ, какъ появлялся новый букетъ, радостямъ конца не было. Адамсъ за это время до того смягчилась, что какъ-то даже принесла нѣсколько вѣтокъ бѣлыхъ и розовыхъ азалей и просила Варю на-



рисовать ихъ для нея. Когда рисунокъ былъ конченъ, Варя отдала свою работу Адамсъ и та осталась ею настолько довольна, что обѣщала вставить въ рамку подъ стекло.

Я рассказывала объ этомъ Катеринѣ Ѳеодоровнѣ, сидя у ней въ комнатѣ въ ея недежурный день; Вари не было — она въ одномъ изъ пустыхъ классовъ разучивала урокъ музыки. Катерина Ѳеодоровна обратила мое вниманіе на то, что она была права, утверждая, что Адамсъ не звѣрь, а только обладаетъ нѣкоторыми непріятными недостатками. Я не совсѣмъ охотно соглашалась съ нею. Въ это время вернулась Варя; она держала въ рукахъ великолѣпную вѣтку красныхъ камелій: блестящіе темнозеленые листья заставляли казаться еще болѣе яркими нѣжныя лепестки цвѣтовъ, — одинъ изъ нихъ былъ съ бѣлыми полосками.

— Ахъ, какая прелесть! вскрикнула я: — откуда это у тебя?

— Это секретъ! пошутила Варя.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, Варя, кто далъ тебѣ эти дорогие цвѣты? спросила Катерина Ѳеодоровна.

— Тетя, душечка, одна изъ воспитанницъ — ей кто-то изъ знакомыхъ привезъ. Я не называю ее, потому что она просила не говорить.

— Ну, и не называй! отвѣтила улыбаясь Катерина Ѳеодоровна: — можетъ быть, это и въ самомъ дѣлѣ важный секретъ.

— Ты будешь рисовать ихъ для этой подружки? спросила я Варю.

— Да, конечно! Мнѣ и дали съ тѣмъ, что я верну ихъ на рисунокъ — знаешь, даромъ-то ничего не даютъ.

Я захлопоталась о вазѣ и водѣ, а Варя разложила краски и бумагу и стала рисовать.

Рисунокъ ея подвигался быстро: она находила, что камеліи легче поддаются кисти, нежели азалеи.

— А вотъ съумѣю-ли я хорошо рисовать розы и сирени? говорила она: — я думаю, что ни за что не съумѣю! Напримѣръ чайную розу: ну, кто можетъ передать всю ея свѣжесть? Или бѣлую сирень?... или еще ландыши?... Ахъ, тетя, поскорѣе-би въ деревню — вотъ гдѣ мнѣ раздолье будетъ!...

— Наживешься, мой другъ, и въ деревнѣ, отвѣчала Катерина Ѳеодоровна: — надоѣсть еще!

— Нѣтъ, возразила Варя: — ты меня еще не знаешь, тетя;



я тамъ только и буду счастлива уже потому, что никто такъ не понимаетъ мнѣ дѣлится и мечтать. Я вотъ рисую, а мысли мои Богъ знаетъ гдѣ... Отъ того я такъ люблю и праздники; нѣтъ звонковъ въ классъ, ничто не напоминаетъ, что время прошло, что еще часъ, два, три прожиты...

Катерина Ѳеодоровна засмѣялась.

— Я никогда не ожидала услышать что-нибудь подобное отъ тебя: ты такая прилежная, аккуратная, всегда во время готова...

— Ахъ, тетя — да вѣдь я аккуратна, потому что нельзя иначе: вѣдь я бы и тебя стѣсняла и на себя бѣды навлекала бы каждую минуту... и ты, можетъ быть, меня бы за это меньше любила?... Она подняла голову, на глазахъ ея были слезы. а за твою любовь и ласку я, и мечты, и спокойствіе, и все готова отдать!

Варя сильно взволновалась.

— Варя, дѣвочка, что это ты такъ встревожилась? Катерина Ѳеодоровна подошла къ племянницѣ и обняла ее.

Варя прижалась къ теткѣ.

— Тетя, дорогая! развѣ ты не понимаешь? Когда папа и мама умерли, и я осталась одна, и мнѣ сдѣлалось тяжело и страшно — вдругъ ты, точно мать родная.... лучше! Моя мама мало обращала вниманія на меня... да ты сама знаешь... И вдругъ отъ тебя такая нѣжность, такая забота, а я безъ этого жить не могу! Я часто думаю, что было-бы со мною, еслибы я была такою чужою всѣмъ, какъ была бѣдная Паня?...

Она притянула меня къ себѣ и обняла.

— Тетя, родная, я бы умерла! Вотъ такъ и завяла бы, какъ цвѣты осенью на морозѣ. Помнишь-ли, мы выставили осенью цвѣты за окно и забыли взять ихъ вечеромъ назадъ? Ночью былъ морозъ — они поблекли и головки повѣсили — мнѣ такъ ихъ было жаль! Вотъ оттого я Паню больше всѣхъ въ классѣ любила, что и ее уже побилъ морозомъ и мнѣ сначала очень было жаль ее... Только она крѣпкая — правда, Паня? Какъ видишь, тетя, она голову не повѣсила и не повѣситъ — это не то, что я. А бѣдные цвѣты еще слабѣе меня: ихъ и морозъ обижаетъ, и люди рвутъ и топчутъ... Когда я рисую ихъ, мнѣ кажется, что они это понимаютъ и рады, что послѣ смерти отъ нихъ что-нибудь останется... Ахъ, тетя! я даже не умѣю ска-



затѣ, что я чувствую, но мнѣ жаль всѣхъ кого обижаютъ и тоже и тѣхъ жаль, кто обижаетъ: и тѣмъ худо, тетя!...

Я быстро поцѣловала Варю и убѣжала; мнѣ казалось, что я теперь лишняя здѣсь. Уходя, я видѣла, какъ Катерина Федоровна провела рукой по волосамъ племянницы, говоря: — Ахъ, дѣвочка, боюсь я за тебя: ты слишкомъ экзальтированная какая-то!

Горячія слова Вари вызвали во мнѣ цѣлую душевную бурю. Я чувствовала, что я далеко хуже ея. Вонъ она какая любящая — а я, если загляну поглубже въ себя? Вѣдь я обижающихъ ненавижу, а тѣхъ, кто позволяетъ обижать себя — презираю. Варя не возставала противъ обижающихъ, но никакія угрозы, ничто, не могло заставить ее, такую слабенькую и нѣжную на видъ, поступить такъ, какъ она считала, что поступать не слѣдуетъ. Она никогда не боролась ни съ кѣмъ изъ за пустяковъ, я-же вскипала, какъ молоко, билась головой объ стѣну изъ-за вздора, а потомъ падала духомъ, впадала въ тоску и апатію, и тогда могла равнодушно пройти мимо болѣе серьезныхъ золъ и покориться тому, что раньше вызывало во мнѣ самый горячій протестъ. Потомъ я опять оживала, но выдержки у меня не было. Варя не то: она и не забывала ничего; я могла, подъ вліяніемъ новыхъ впечатлѣній, забыть о прошломъ, хоть на время, она-же все помнила.

Въ классъ въ тотъ вечеръ Варя не приходила, я встрѣтилась съ нею только на другой день: она была такая-же тихая и весело-ласковая, какъ всегда. Я не стала говорить съ нею о вчерашнемъ.

## XVI.

Наступила давно желанная Пасха. Для Табаровой это былъ праздникъ изъ праздниковъ — у нея, также, какъ у Вари, былъ отличный голосъ и обѣ были регентами нашихъ двухъ церковныхъ хоровъ; я тоже пѣла. Мы очень цѣнили право пѣть на клиросѣ: тамъ было вольнѣе, чѣмъ въ рядахъ воспитанницъ, стоявшихъ на срединѣ церкви. На клиросѣ можно было и къ стѣнѣ и къ периламъ прислониться, что было далеко не лишнимъ во время долгихъ Рождественскихъ и Великопостныхъ службъ. Но мы и пѣть любили. Какъ то и молиться на клиросѣ



было лучше, потому можетъ быть, что не такъ одолевали усталость и сонливость. Когда хоръ особенно отличался, ему сыпались похвалы со всѣхъ сторонъ: и отъ учителя пѣнія и отъ посѣтителей, т. е. родныхъ самыхъ аристократическихъ „дѣвицъ“, которымъ открытъ былъ свободный доступъ въ общество начальницы и въ институтскую церковь. Старикъ діаконъ нашъ, страстный любитель хорового пѣнія, даже во время службы, пробираясь за эктеной мимо насъ, не удержится, бывало, и скажетъ:—Ай да барышни! спасибо, славно! Вотъ люблю — истинно благолѣпно поете нынѣ... Ей-Богу умиленно! Ахъ, согрѣшилъ я грѣшникъ!

Батюшка, когда бывалъ доволенъ, присылалъ сказать намъ съ дочерью своей, которая училась съ нами: скажи своимъ подругамъ, что нынче дисканты не въ примѣръ противъ прочихъ разовъ въ концертной херувимской отличались... На Рождество особеннымъ одобреніемъ пользовались: „Дѣво днесь“... Тутъ похвала относилась въ особенности къ басамъ.

Въ Великомъ Посту вниманіе батюшки было преимущественно обращено на трію: „Да исправится молитва моя“... отецъ-же діаконъ, слушая его, никогда ни говорилъ ни слова одобренія, но потихоньку утиралъ слезы.

Варя и я пѣли эту молитву вѣсть съ Табаровой и это было для насъ великимъ наслажденіемъ. Намъ казалось, что мы становимся лучше и чище, по мѣрѣ того, какъ наши голоса разливаются и несутся все выше и выше въ пространство:

Да исправится молитва моя,  
Яко кадило предъ тобою!...

И дымя кадила тоже неся вверхъ, обдавая благовоннымъ туманомъ позолоту иконостаса и величавую, строгую, сѣдую голову отца діакона, и молодую толпу посреди церкви, и насъ трехъ, стоящихъ предъ царскими вратами.

Воздѣяніе руку моею..  
Жертва вечерняя!..

Велика ты была жертва любви для спасенія міра! думала я съ благоговѣніемъ, и глубокое чувство умиротворенія и благодарности наполняло всю меня.

Положи Господи, храненіе устамъ моимъ!  
И дверь огражденія о устнѣхъ моихъ!

И когда злоба или ненависть душили меня, сколько разъ молилась я именно этими словами.



И пасхальное пѣніе тоже наполняло насъ благодатной, тихой радостью. На Пасхѣ и ссоръ бывало меньше, даже Адамъ не такъ часто злился.

Послѣдняя Пасха, которую я провела съ Варей, была ранняя: время стояло ужасное, у насъ было холодно и сыро. Долгое стояніе въ церкви во время страстныхъ службъ, истощеніе отъ поста сказывались на всѣхъ насъ. Варя похудѣла, какъ и большинство; я какъ-то апатично относилась ко всему, только Табарова цвѣла по прежнему.

Мы шли къ свѣтлой заутрени: лѣнливо плетясь за остальными пѣвчими, я оглядывалась, не увижу-ли гдѣ Вари, но ея не было, чему я удивлялась, зная ея всегдашнюю аккуратность. Вдругъ Табарова подбѣжала ко мнѣ:

— Ты не знаешь, гдѣ Тардѣва? спросила она.

— Нѣтъ, полусонно отвѣчала я, не смотря на нее.

— Паниочка, хорошо я причесана? опять обратилась она ко мнѣ.

Я взглянула на нее; волосы ея были завиты и взбиты, на рукахъ были надѣты черныя бархатки въ видѣ браслетовъ, на шеѣ висѣлъ золотой медальонъ тоже на черной бархаткѣ. Она была очень хороша: глаза ея искрились, щеки горѣли румянцемъ.

— Какая ты сегодня красавица! невольно вырвалось у меня. Она улыбнулась.

— Откуда у тебя медальонъ?—Я его еще не видала у тебя.

— Откуда?—Это секретъ!

— Нѣтъ, право, скажи?

— Въ промѣнъ получила, а отъ кого и за что... не скажу!

— Ну, не хочешь и не надо!

— Да гдѣ-же это Варька? капризно проговорила Табарова, мнѣ такъ нужно ее, такъ нужно!

Въ это время Варя появилась рядомъ съ нами и торопливо стала на свое мѣсто. Она сунула Табаровой въ руки какой-то свертокъ, говоря:

— Тетя переложила пашку въ другой столъ, я насилу нашла... было-бы тебѣ взять въ другое время...

— Да теперь-то вотъ какъ разъ мнѣ и нужно!

— Что это? спросила я.

— Экая любопытная! поддразнила меня Табарова, все тебѣ знать надо... много знать будешь, скоро состаришься!



Я разсердилась: Да я не напрашиваюсь!—Богъ съ тобой, коли такъ.

— Ну, ужъ и надулась—ноты это, вотъ и все... а можетъ быть и что другое...

Мнѣ было досадно, что Табарова дразнить меня—я спрашивала ее просто отъ скуки, чтобы сказать что нибудь и вовсе не настанывала на томъ, чтобы узнать ея секреты; но она вообразила, что мнѣ обиденъ недостатокъ откровенности съ ея стороны, быстро развернула свертокъ, когда мы проходили мимо лампы, и протянула его мнѣ.

— Ну, видала?—не злиться больше!

Передо мной мелькнулъ букетъ камелій, которыя на прошлой недѣлѣ рисовала Варя.

— Напрасно ты думаешь, что я сержусь за то, что ты не хотѣла мнѣ этого показывать... начала я.

— Ну, полно, полно!—перебила она меня: не увѣришь теперь—точно я тебя не знаю!

Мы вошли въ церковь и разговоръ нашъ прекратился.

Заутрешня прошла по обыкновенію, какъ намъ казалось, слишкомъ скоро. Потомъ такъ же живо прошла и ранняя обѣдня. Когда она окончилась, начались христосованія и поздравленія, потомъ насъ развели по спальнямъ, за исключеніемъ десяти избранныхъ, которыя въ сопровожденіи Катерины Федоровны отправились къ начальницѣ разговляться. Между ними были Табарова и Варя, какъ регенты; остальные восемь принадлежали къ числу лучшихъ воспитанницъ по наукамъ и поведенію.

Вернувшись въ спальню, я наскоро раздѣлась и легла, но не могла заснуть—мнѣ мѣшало гомерическое лакомленіе, поглощеніе всевозможныхъ яствъ, происходившее вокругъ меня; впрочемъ мнѣ самой скоро пришлось принять въ немъ участіе. Большинство моихъ подругъ получили изъ дому громадныя корзины всякаго добра—тутъ были и пасхи, и куличи, и ветчина, и яйца, и индѣйки, и поросята, и пирожки, и конфеты. Все уничтожалась въ пережѣвку,—слышались смѣхъ и говоръ,—откуда-то явились горячій чай и кофе. У меня конечно ничего не было, такъ какъ не было никого, кто бы захотѣлъ меня побаловать. Я ни за что бы не стала просить подругъ подѣлиться со мной, но это не было и нужно: ни одна изъ нихъ не забыла угостить меня и тѣхъ двухъ трехъ безродныхъ сиротъ, которыя помимо меня были въ классѣ. Скоро на моемъ



столикѣ высился цѣлый ворохъ „кусочковъ“ и я принялась разговлѣться, вмѣстѣ со всѣми.

На этомъ полезномъ занятіи застали насъ вернувшись отъ начальницы Табарова и Варя. Вмѣстѣ съ ними пришли Ильина и Попова, наши двѣ первыя ученицы; обѣ тотчасъ принялись разбирать корзины, стоявшія у ихъ кроватей; Варя и Табарова подошли ко мнѣ. Варя была задумчива, Табарова же очень весела и неумолчно болтала о томъ, какъ весело было внизу: всѣ родные начальницы собрались тамъ и еще много разныхъ гостей, и какое прелестное платье было на дочери татап и что говорилъ М-г Жан... и такъ далѣе — безъ конца. Я не безъ удовольствія ее слушала: все что нарушало однообразіе нашихъ сѣрыхъ будней было болѣе или менѣе интересно. Варя все время молчала, наконецъ она простилась со мной и ушла въ комнату теткы. Я не могла уговорить Табарову лечь спать: она, сидя на моей постели, болтала до тѣхъ поръ, пока я, несмотря на все мое вниманіе, заснула мертвымъ сномъ.

---

На утро всѣ встали съ разстроенными желудками и головою болью. На этотъ разъ намъ было позволено проспять лишній часъ. Въ столовой казенный чай унесли нетронутымъ. Послѣ чаю мы опять ушли въ спальню.

Было дежурство Адамсъ: день прошелъ скучно и вяло. Послѣ обѣда я попросилась къ Варѣ, но Адамсъ не пустила меня, говоря, что Катерина Ѳедоровна уѣхала на цѣлый день къ знакомымъ въ городъ и что Варя сама придетъ къ намъ, какъ только окончитъ писать письма по порученію теткы. Дѣйствительно, Варя скоро пришла. Мы принялись съ нею ходить взадъ и впередъ по широкому корридору, обыкновенному мѣсту гулянья всѣхъ воспитанницъ. Въ корридорѣ была давка, какъ на Невскомъ въ три часа. Разговоръ нашъ не кленлся, вслѣдствіе усталости отъ безсонной ночи. Въ это время изъ младшаго класса пришли двѣ дѣвочки „обожавшія“ Варю и попросили насъ пойти съ ними въ ихъ дортуаръ. Адамсъ отпустила насъ, заставивъ дать слово, что мы не опоздаемъ къ чайному звонку. Пробывъ около часа со своими обожательницами, мы шли уже назадъ, когда за нами запыхавшись прибѣжала Попова. Схвативъ Варю подъ руку, она взволнованно шептала:



— Идите скорѣе — что-то случилось... у насъ тапан... ай, mesdames! что-то ужасное! — тебя Варя вездѣ ищутъ.

Варя испуганно посмотрѣла на нее.

— Что такое случилось? — чуть не крикнула я.

— Ой, да не знаю-же я! отвѣчала Попова: Только идите скорѣе.

Мы отправились бѣгомъ. Передъ входомъ въ спальню Варя вдругъ остановилась. Мнѣ просто страшно стало, глядя на ея поблѣднѣвшее личико. Она перекрестилась и проговорила почти вслухъ: „Помоги мнѣ, Господи!“

— Варя, что съ тобою? горячо и озабоченно спросила я ее, не понимая, что съ нею.

— Ничего, Паня... я сама не знаю... мнѣ просто стало страшно: мало-ли что могутъ выдумать. Зачѣмъ имъ меня? Не къ добру это — и тети нѣтъ дома.

Попова толкала насъ: „Да идите-же, ну!..“

Мы вошли въ спальню. Все отдѣленіе наше стояло молча и съ испуганными лицами, каждая ученица около своей кровати. Начальница и m-elle Адамсъ были посреди комнаты. Матап держала въ рукахъ какую-то бумагу. Мы тоже стали на свои мѣста. Теперь всѣ были въ сборѣ! Софья Ивановна прошлась по спальнѣ, пристально вглядываясь въ лицо чуть не каждой изъ насъ. Адамсъ шла слѣдомъ за ней. Наконецъ начальница остановилась и обратилась къ намъ со словами:

— Дѣти, вы знаете на сколько я снисходительна къ ребяческимъ шалостямъ, но сегодня — или лучше сказать вчера — случилась вещь, которую я не могу уже назвать шалостью... Это такая вещь, которая въ состояніи привести въ отчаяніе всѣхъ насъ, воспитателей вашихъ. Неужели мы трудились надъ вами, стараясь дать вамъ твердые принципы морали, для того, чтобы, наканунѣ дня, когда вамъ приходится оставить заведеніе, между вами были дѣвушки, способныя... я не знаю какъ назвать подобный поступокъ? — я въ своей залѣ нашла вотъ это!

Она развернула бумагу, которую держала въ рукахъ — это былъ букетъ камелій, нарисованный Варей.

Мы съ недоумѣніемъ смотрѣли и на рисунокъ и на начальницу.

— Я знаю, — продолжала матап: что это сдѣлала одна, что не могло быть больше одной такой дрянной, испорченной, лишенной стыда дѣвочки... но и этого много, подъ этими



цвѣтами подписано: „Этимъ буду я“. Я удивляюсь, откуда вы знаете, что значить названіе этого цвѣтка?.. Кажется мы охраняемъ васъ отъ всякаго вѣтерка, который могъ бы подуть на васъ извнѣ — и вотъ результатъ! Придется совершенно запретить васъ, не допускать и ближайшихъ родныхъ, даже отцовъ и матерей, — чтобы избѣгать всякой возможности нравственной порчи... заразы!.. запретить какое-бы то ни было чтеніе... замуравить васъ живыхъ!

Софья Ивановна долго говорила, — подъ конецъ она даже заплакала. Передъ уходомъ она прибавила: „Я знаю, что виновная изъ этого отдѣленія, но не хочу назвать ее, чтобы не унижить въ глазахъ подругъ... пусть она завтра утромъ сама придетъ ко мнѣ и признается зачѣмъ, съ какою цѣлью, оставила въ моей залѣ эту мерзость!

Она разорвала рисунокъ пополамъ и отдала его Адамсъ. Бѣдная Варя! какъ она трудилась надъ нимъ, и для чего?

Я была увѣрена, что подпись подъ рисункомъ дѣло не Вари. Между тѣмъ и начальница и Адамсъ по нѣскольку разъ взглядывали на нее. Она стояла, понуривъ голову, и не поднимала глазъ ни на кого; на лицахъ остальныхъ подругъ выражались попрежнему испугъ и недоумѣніе. Я взглянула мелькомъ на Табарову—эта и не смотрѣла испуганной,—мнѣ показалось даже, что по губамъ ея скользнула легкая усмѣшка.

— Чему-жъ она смѣется? удивлялась я про себя: смѣшного во всемъ этомъ мало!

По уходѣ начальницы у насъ сразу поднялся говоръ — всѣ оставили мѣста и затолпились около Адамсъ, чтобы поближе разсмотрѣть злополучный букетъ.

— A vos places!

Мы опять молча вытянулись на мѣстахъ.

Теперь заговорила Адамсъ: „Mesdemoiselles! Маман слишкомъ мягко отнеслась къ вамъ, потому что она ангелъ! Вы не этого стоите,—вы дрянныя, мерзкія, отвратительныя дѣвочки, — вы нравственные уроды,—vous êtes des réceptacles de toutes les horreurs imaginables!..“ Она передохнула: „Мы сейчасъ отправимся въ столовую—и когда вернемся, чтобы ни одна не смѣла быть на ногахъ черезъ четверть часа послѣ молитвы—слышите! А вы“—она обратилась къ Варѣ: „извольте раздѣвшись пройти въ мою комнату. Агница чистая! Артистка! Порадуется Катерина Федоровна на свою пріемную дочь!“



— M-elle Адамсъ! крикнула я въ ужасѣ: да вѣдь это не она, не она!

— Молчать! Какъ вы смѣете говорить, когда къ вамъ не обращаются!.. Учить меня вздумали? Если не она, такъ кто-же?

Между тѣмъ Варя съ такою любовью взглянула на меня и прошептала „молчи!“, что я онѣмѣла.

— Что-же вы теперь молчите? Говорите, если-что нибудь знаете!.. Что за скверныя дѣвочки — съ ними просто голова кругомъ пойдетъ!.. Что вы знаете—ну-же?

— Я ничего не знаю, m-elle Адамсъ.

— Такъ какъ-же вы смѣете высказывать со своими мнѣніями? „Это не она!“ Передразнила она меня. „А если не она, такъ кто-же? Тихони всегда мерзавками оказываются!“

На Варю было жаль смотрѣть.

Я едва могла дождаться окончанія чаю. Варя все время молчала и я не смѣла ее ни о чемъ спросить, такъ какъ Адамсъ не отходила отъ нея ни на шагъ, не говоря больше ни слова, но все время подергивая плечами. Я была увѣрена, что все надѣлала Табарова, но съ какой цѣлью? Конечно не для того, чтобы повредить Варѣ. Табарова никому никогда по своей волѣ не дѣлала зла. Я вообще старалась объяснить себѣ все это дѣло. Я имѣла понятіе о томъ, что такое камелія — мало-ли чего мы ни знали и какихъ гадостей ни читали и ни говорили.

Мнѣ и въ настоящее время бросается въ лицо краска стыда, когда я вспоминаю о невыносимой пошлости анекдотовъ, бывшихъ у насъ въ ходу и точный смыслъ которыхъ большинству былъ вѣроятно не вполне ясенъ; но достаточно того, что были вкусъ и стремленіе слушать и говорить двусмысленности, а иногда и просто грубыя грязности. Что касается наклонности интересоваться всѣмъ этимъ, то причинъ ея существованія не приходится далеко искать: такъ нѣкоторыя классныя дамы, будучи въ пріятномъ настроеніи, случалось отпускали легонькія сальности, чтобы развеселить „дѣвицъ“; то-же дѣлалъ M-r Dulac. Но откуда являлись грубо циничные рассказы? Отчасти изъ французскихъ романовъ, бывшихъ у насъ въ ходу, отчасти изъ со-всѣмъ другого источника.

Варя почти единственная въ классѣ, никогда не принимала участія въ подобныхъ бесѣдахъ.

Итакъ я знала, что такое камелія; знала, что онѣ живутъ



на деньги кутящей молодежи и чѣмъ съ своей стороны платять за эти деньги.

Неужели Табарова собирается такъ жить? спрашивала я себя, неужели она намекала на это, когда говорила, что знаетъ куда пойти, если соскучится у бабушки!

Вернувшись изъ столовой, мы помолились и стали раздѣваться. Адамсъ повторила Варѣ приказъ пройти къ ней въ комнату и тамъ дожидаться ея прихода. Варя сняла платье и ушла изъ спальни только въ юбкѣ и кофточкѣ, въ волненіи своемъ забывъ накинуть на плечи никогда обыкновенно не покидавшій насъ большой шерстяной платокъ. Комната Адамсъ находилась довольно далеко отъ нашей спальни и отдѣлялась отъ общаго корридора небольшой полутемной прихожей, составлявшей его продолженіе и разграниченной отъ него только стеклянной перегородкой, не достигавшей до потолка. Въ этой прихожей всегда было сыро и холодно. Она была вымощена вдоль стѣнъ, какъ и весь корридоръ, каменными плитами; только посрединѣ шелъ ярко наложенный паркетъ.

Адамсъ пребыла въ спальнѣ до тѣхъ поръ, пока мы улеглись. Наконецъ она ушла. Только что шумъ ея шаговъ замолкъ въ корридорѣ, какъ все у насъ оживилось: всѣ вскочили съ кроватей; составились группы и шопотомъ начались переговоры о случившемся. Ко всему прибавилось еще и новое безпокойство: ни кто не могъ доискаться книгъ, изъ числа недозволенныхъ въ заведеніи, которыя обыкновенно хранились запрятанными подъ тюфяками. Искавшія терялись въ догадкахъ о томъ, куда могли дѣваться книги, и со страхомъ въ десятый разъ перерывали постели. Чтеніе запрещенныхъ книгъ, невозможное въ теченіе дня, происходило обыкновенно ночью, при свѣтѣ огарка, стоящаго въ ящикѣ стола; какъ только слышались шаги классной дамы, ящикъ быстро захлопывался, иногда съ еще горящею свѣчей. Если свѣчей не было—чтеніе не прерывалось, но шло въ „сантирахъ“, при свѣтѣ горѣвшаго тамъ до утра ночника. Часовъ до трехъ ночи эти читальни не пустѣли, къ великому горю бѣдныхъ женщинъ, жившихъ тамъ и лишенныхъ отдыха; но ни одна объ этомъ не доносила, боясь лишиться платимыхъ за молчаніе пятаконъ и гривенниковъ. Туда классныя дамы никогда ночью не заглядывали.

Я не прислушивалась къ толкамъ класса, а прошла къ постели Табаровой, которая, завидѣвъ меня, юркнула подъ одеяло и



притворилась спящей. Я принялась ее немилосердно расталкивать;—я не могла видѣть ея лица, такъ какъ спальня освѣщалась только однимъ ночникомъ и сегодня никто не осмѣливался зажечь свѣчи.

Табарова полусоннымъ голосомъ ворчала: „Отстань: я спать хочу—Адамсъ приказала!“

— Не дури! шопотомъ, но сурово остановила я ее: зачѣмъ ты это сдѣлала?

— Что такое?

— Рисунокъ оставила у начальницы. И что значить эта надпись?

— Я не оставляла. Отвѣчала она.

— Слушай, продолжала я: я сейчасъ пойду скажу Адамсъ, что Варя рисовала цвѣты для тебя и вчера вечеромъ отдала тебѣ рисунокъ.

— Въ фискалки поступаешь? Поздравляю! Сонъ Табаровой, какъ рукой сняло.

— Вѣра! заговорила я мягче: неужели ты не понимаешь, что нехорошо, подло заставлятъ страдать другого за свою вину?

— А я чѣмъ виновата, что этотъ дуракъ теряетъ то, что ему даютъ!

Я совсѣмъ стала въ тупикъ:—Какой дуракъ?

— Да Жан!... Вымолилъ, выпросилъ у меня въ обмѣнъ... то-есть на память... сказалъ, что это мой портретъ—потомъ бросилъ... А вѣдь что говорилъ и писалъ! — Погоди-жь—буду я ему теперь вѣрить!

— Въ обмѣнъ—за что? Неужели за тотъ медальонъ? Вѣра, значить это онъ тебѣ и медальонъ далъ? Фу какая гадость!

— А ты, слышишь-ли, завтра же пойдешь къ начальницѣ и признаешься ей во всемъ—иначе я пойду, да — я! Хоть бы весь институтъ меня потомъ фискалкой величалъ... Я не хочу, чтобы на моей Варѣ, на моей чистой святой Варѣ, осталась хоть тѣнь подозрѣнія въ такихъ мерзостяхъ. Она тебя вѣдь не выдастъ, и отъ горя и стыда умереть... а Катерина Ѳедоровна съума сойдетъ... Я заплакала:—что же ты пойдешь?.. Вѣра?

Табарова упрямо молчала. Такъ я ничего и не добилась отъ нея.

Между тѣмъ Варя не возвращалась. У меня невыносимо ныло сердце. Я не вытерпѣла, выскользнула въ корридоръ и направилась къ комнатѣ Адамсъ. Тамъ было тихо—во всякомъ слу-



чаѣ ничего не было слышно изъ корридора, а въ прихожую я войти не посмѣла. Я вернулась и прошла въ комнату Катерины Ѳедоровны, которая была рядомъ съ нашей спальней. Варя тамъ не было и Катерина Ѳедоровна еще не пріѣхала изъ города. Я вошла обратно въ спальню и прилегла на постель поверхъ одѣяла. Спать я не могла. Раза два еще я ходила слушать подъ дверь Адамсъ и смотрѣть, не вернулась-ли Катерина Ѳедоровна—и все напрасно. Отсутствіе Вари сильно меня беспокоило. Бѣдная, что теперь съ нею? Пилить, мучить ее Адамсъ. Наконецъ разстроенное мое воображеніе стало рисовать мнѣ фантастическіе ужасы: мнѣ начало мерещиться, что Адамсъ пытается Варю и та молча выноситъ незаслуженныя муки и умираетъ подъ пыткой, принимая на себя чужую вину.

Я рѣшила еще разъ пойти искать ее. Подойдя къ прихожей Адамсъ я стала напряженно прислушиваться—опять ничего не слышно... Нѣтъ, что это такое? Точно вздохъ. Я тихо позвала:

— Варя, ты здѣсь?

— Это ты, Паня? отвѣтилъ мнѣ слабый шопотъ.

— Варя, гдѣ ты?

— Здѣсь, за перегородкой,—войди сюда: Адамсъ ушла.

Я вбѣжала въ прихожую—тамъ было темно, но я распахнула дверь и при свѣтѣ корридорной лампы увидѣла Варю на колѣняхъ въ углу. Я бросилась къ ней:

— Дорогая, милая! Что это? Зачѣмъ ты здѣсь?

Варя дрожала всѣми членами—она едва была въ состояніи говорить и слабо произнесла:

— Охъ озябла я.

На мнѣ былъ теплый платокъ—я накинула его на нее.

— Что все это значитъ, Варя?

— Ничего особеннаго: она поставила меня тутъ на колѣни за то, что я отказалась отвѣчать на ея вопросы объ рисункѣ.—Что тетя вернулась?—Ищетъ меня, беспокоится?

— Если бы она вернулась, то уже давно бы вытребовали тебя отъ этой звѣрской Адамки... А ты встань, встань сейчасъ! говорила я, поднимая Варю:—Ты съума сошла, что стоишь, раздѣтая, на колѣняхъ на этихъ каменныхъ плитахъ,—ты вѣдь на смерть простудиться можешь! Такъ терять свое здоровье... да еще изъ-за чего? Хоть бы стояло! А то изъ-за гадостей, которыя надѣлала Табарова. Сейчасъ встань—или я сію минуту одѣнусь и пойду все рассказать начальницѣ.



Варя по моему голосу слыхала, что я исполню свою угрозу, если она не послушается меня—она попыталась встать.

— Паша, я не могу: у меня ноги зашились — и какъ мнѣ опять холодно!...

Я сѣла около нея на полу и старалась согрѣть ее, кутая ее въ платокъ и въ юбку, — я хотѣла сбѣгать въ спальню и принести ей что-нибудь теплое, но она не пустила меня, говоря, что ей слишкомъ худо и страшно остаться тутъ одной. Она прислонилась ко мнѣ и сидѣла молча.

— Отчего ты не вернулась домой, когда Адамсъ ушла? спросила я.

— Ахъ, Паша, рѣшительно было! Она велѣла мнѣ здѣсь дожидаться ее вонъ!... и ждала—такъ долго... Мнѣ только тетя жалъ... она не повѣритъ... а завтра Табарона признается—я же не могу выдать подругу...

— Да, жди отъ нея чего-нибудь путнаго!.. Я рассказала Варѣ то, что узнала изъ разговора съ Табаровой.

— Ахъ, ужасъ какой! говорила Варя:—а я вѣдь видѣла на разговорѣ, какъ Табарона и м-гъ Жанъ все шептались и какъ она ему дала рисунокъ, а онъ ей записочку сунулъ въ поты... Оттого я такъ испугалась, когда услышала, что что-то случилось... Только я не думала совѣтъ, что у ней такія нехорошія мысли... Ахъ бѣдная, бѣдная Вѣра!.. А знаешь-ли, отчего Адамсъ такъ увѣрена, что это я виновата? Табарова вѣдь на одномъ изъ цвѣтковъ выставила В. Т. Начальныя буквы моего имени тоже В. Т., ну, а главное, всѣ знаютъ, что я рисую цвѣты...

— Но вѣдь мало-ли чье имя начинается этими буквами—и потому не ты одна рисуешь?... Насъ, вѣдь, пятьсотъ человекъ!...

— Да, но у начальницы была только одна я...

— Все равно, Варя! Все равно, даже если-бы ты и виноватая была, Адамсъ не имѣла права такъ терзать тебя... Что, можешь ты теперь встать?

Варя съ моею помощью встала. Я уговаривала ее уйти—она ни за что не хотѣла безъ позволенія Адамсъ; я совершенно не понимала побужденій, заставлявшихъ ее поступать такъ, — только потомъ, гораздо позже, мнѣ стало ясно, что она такъ сожалѣла о людяхъ, совершающихъ жестокости, даже если ей самой приходилось страдать отъ нихъ, что старалась отсутствіемъ всякаго сопротивленія и протеста уничтожить побужденіе къ жестокости...



не подозрѣвая при этомъ, что никогда безотвѣтностъ жертвъ не дѣлала тирановъ мягче. Вдругъ въ корридорѣ послышались шаги. Думая, что это Адамсъ, я приготовилась ей злостно нагрубить, выглянула за дверь и столкнулась съ Катериной Ѳедоровной, которая, вся разстроенная и испуганная, схватила Варю за руку и вывела ее изъ прихожей.

— Что это значитъ, дѣвочка? тревожно допрашивала она племянницу: Я тебя вездѣ ищу, а ты тутъ, раздѣтая... Вѣдь ты заболѣть можешь... и теперь уже одиннадцать часовъ!

Я горячо виѣшалась и стала рассказывать Катеринѣ Ѳедоровнѣ всю исторію, умалчивая имя Табаровой и только говоря, что Варя страдаетъ за другую. Катерина Ѳедоровна увела племянницу домой. Варя едва держалась на ногахъ, но теперь она уже не отказывалась уйти. Придя въ свою комнату, Катерина Ѳедоровна тотчасъ уложила ее въ постель и напоила горячимъ чаемъ, который Варя едва могла пить, потому что у нея зубъ на зубъ не попадалъ отъ трясаго ей озноба.

Вдругъ кто-то постучался въ двери. Катерина Ѳедоровна пошла отворять ее и я услышала голосъ Адамсъ, съ пафосомъ рассказывавшей о томъ, что „надѣлала“ Варя. По временамъ она вставляла замѣчанія на счетъ того, какъ все это должно быть горько особѣ съ такими возвышенными понятіями о морали, какъ Катерина Ѳедоровна... Поставила же она Варю на колѣни потому-де, что хотѣла этимъ наказаніемъ, столь позорнымъ для семнадцатилѣтней дѣвушки, заставить ее заглянуть въ себя, одуматься... и вотъ Варя, вмѣсто того, чтобы раскаяться въ своей винѣ, преспокойно ушла! только что она отвернулась... и вѣроятно спитъ теперь сномъ праведныхъ.

Катерина Ѳедоровна молча провела Адамсъ за перегородку къ постели, на которой въ лихорадкѣ дрожала Варя.

— Варя не ушла, сказала она, а я увела ее полу-мертвую отъ холода, усталости и горя; она съ девяти до одиннадцати стояла полу-нагая на камняхъ на каменной плитѣ... Еслибы Медвѣдева не отогрѣла ее немного, я не знаю, что было-бы съ нею. Исторія, которую вы мнѣ рассказали, дѣйствительно гадка—но какъ могли вы, какъ смѣли подумать, что моя дѣвочка на что нибудь такое способна? Стыдно вамъ, Марья Александровна, чуть не до сѣдыхъ волосъ дожить и не набраться разума, какъ могли вы оставить такъ надолго въ этомъ погребѣ и при такихъ условіяхъ такую болѣзненную дѣвушку,



какъ Варя?... Катерина Ѳеодоровна была такъ взволнована, что совершенно забыла о присутствіи Вари и обо мнѣ.

Адамсъ сконфузилась и не совсѣмъ твердымъ голосомъ начала оправдываться:

— Я конечно немного запоздала — меня задержали у тамапа... Мнѣ очень жаль, но посудите сами, такой скандалъ въ моемъ классѣ!...

— Да Варя-то тутъ при чемъ? чуть не крикнула Катерина Ѳеодоровна.

— Ну, какъ-же? — вѣдь она рисовала!

— Что-жъ въ томъ, что она?... Да что съ вами говорить, все равно вы не поймете! Завтра я сама переговорю съ начальницей.

Адамсъ такъ была пристыжена, что отправилась къ себѣ, не сдѣлавъ мнѣ даже замѣчанія за то, что я безъ спросу ушла изъ спальни.

Мы съ Катериной Ѳеодоровной просидѣли ночь надъ Варей, которая металась въ тревожномъ, лихорадочномъ снѣ. Подъ утро я вернулась въ дортуаръ, но уже не могла сомкнуть глазъ до вставальнаго звонка. Утромъ Варя оказалась такъ слаба, что встать съ постели не могла.

Тотчасъ послѣ утренняго чаю Катерина Ѳеодоровна прошла къ начальницѣ. Слѣдомъ за ней отправилась и Табарова, которой я рассказала о томъ, что вытерпѣла изъ за нея Варя. Табарова горько расплакалась и согласилась идти сознаваться въ своей винѣ, чтобы не навлечь бѣды еще на когонибудь изъ ни въ чемъ неповинныхъ подругъ. Катерина Ѳеодоровна рассказывала мнѣ потомъ, какъ „виновная“, войдя удивительно хладнокровно къ начальницѣ, объяснила ей, что она вовсе не придавала никакого особеннаго значенія тому, что подписала подъ рисункомъ — она совсѣмъ не знаетъ камелин, — ей понравились красота и свѣжесть цвѣтовъ и она только въ этомъ смыслѣ хотѣла сравнить себя съ ними... Конечно это съ ея стороны очень самонадѣянно, и ей теперь за это очень стыдно, но она не думала, что ктонибудь это увидитъ и тѣмъ менѣе ожидала, что комунибудь за это достанется... А теперь она проситъ тамапа объяснить ей, въ чемъ собственно заключается ея вина и напередъ обѣщаетъ больше этого не дѣлать.

Начальница замаялась, не объяснять же ей было воспитанницѣ, что значить „Камелія“, если та этого въ самомъ дѣлѣ



не понимаетъ. Матап даже какъ будто стыдно стало за необдуманность, съ которою она раздула до такихъ размѣровъ можетъ быть дѣйствительно вполнѣ невинную шалость. Тѣмъ не менѣе она прочла Табаровой правоученіе о суетности всѣхъ воспитанницъ вообще и ея въ особенности и затѣмъ отпустила ее, похваливъ за откровенность, съ которою она пришла сознаться въ своемъ проступкѣ. О М-г Жеан конечно не было и рѣчи. Рисунокъ, по словамъ Табаровой, былъ нечаянно захваченъ ею съ нотами, которыя она не успѣла отнести въ спальню послѣ заутрени и поэтому взяла съ собою, когда зашла разговляться къ матап... она сама не знаетъ, какъ потеряла его тамъ.

Выйдя отъ начальницы, Катерина Федоровна увела Табарову съ собою въ пустой классъ и долго говорила съ нею. Оттуда Табарова вышла вся слезахъ; что произошло тамъ, Катерина Федоровна мнѣ не сообщала.

Этимъ повидимому и окончился для виновной весь переполохъ. Не то было для всѣхъ насъ. Оказалось, что во время нашего отсутствія изъ классовъ и спаленъ—еще въ самый день Свѣтлаго Христова Воскресенія—сама начальница въ сопровожденіи нѣкоторыхъ классныхъ дамъ перебивала во всѣхъ отдѣленіяхъ старшаго класса, гдѣ собственноручно помогала обыскивать наши пюпитры, столы, шкатулки и постели. Замки отворялъ слесарь, а тюфяки расшивали горничныя. Не мудрено, что читальщицы романовъ не донскивались своихъ книгъ. Забирались, впрочемъ, не одни романы, а всѣ книги сплошь, даже тѣ, которыя принадлежали къ институтской библіотекѣ. Въ каждую книгу вкладывалась записочка съ номеромъ стола, постели, пюпитра или шкатулки, гдѣ ее нашли. На третій день праздниковъ насъ всѣхъ собрали въ зало для разбора книгъ и разспросовъ, какимъ образомъ попали онѣ намъ въ руки. Бѣлинскій, Добролюбовъ, Островскій, Костомаровъ казались матап чуть-ли не ужаснѣе романовъ Поль-де-Кока и Евгенія Сю. Такихъ русскихъ книгъ было, впрочемъ, не много; не болѣе десятка воспитанницъ пыталось читать ихъ у насъ, пользуясь институтской-же библіотекой, которая обогатилась ими, благодаря Антону Алексѣевичу. Двѣ-три изъ отобранныхъ начальницею книгъ принадлежали ему лично. Каждая воспитанница, виновная въ чтеніи, вызывалась къ столу, гдѣ ворохомъ высились книги,—тутъ ей либо безъ дальнихъ разсужденій ставился ноль за поведеніе, если книга была изъ невинныхъ и терпимыхъ: лучше не тратить времени на такую непроизводительную вещь, какъ



чтеніе, а постараться получше учиться и вести себя добропорядочно. Относительно Костомарова произошелъ чуть не настоящій скандалъ: маманъ, разбирая свою добычу, уронила ту часть его монографій, гдѣ разсматривается мнѣ объ Эдипѣ; книга, падая, раскрылась какъ разъ на заглавіи: „Легенда о кровосмѣсителѣ“. Начальница пришла въ ужасъ, — нужно было долгое и серьезное объясненіе со стороны Катерины Ѳедоровны и то еще обстоятельство, что на книгѣ имѣлась печать заведенія, чтобы несчастная воспитанница, читавшая ее, не была въ тотъ-же день, безъ суда и слѣдствія, отправлена къ роднымъ.

У Ильиной нашли два романа Поль-де-Кока. У Табаровой книгъ не оказалось — она интересовалась больше бархатками и ленточками и составляла коллекцію картинокъ съ конфетъ. Свои книги я держала вмѣстѣ съ Вариними въ комнатѣ Катерины Ѳедоровны и потому мы избѣжали и ноля за поведеніе и совѣтовъ не читать. Романовъ, преимущественно французскихъ, нашли много, — все это было, какъ я впослѣдствіи слышала, сожжено. Серьезныя книги были возвращены въ институтскую бібліотеку, а принадлежащія Антону Алексѣвичу отосланы ему съ строгимъ внушеніемъ на счетъ неосторожности, съ какою онъ, преподаватель, даетъ читать молодымъ дѣвушкамъ книги, если и ученія, то во всякомъ случаѣ проникнуты безирравственными началами. Былъ даже сдѣланъ намекъ на то, что если онъ не одумается, то ему грозитъ въ будущемъ отказъ отъ мѣста преподавателя въ заведеніи. Оскорбленный и разсерженный всѣмъ этимъ, Антонъ Алексѣвичъ самъ попросилъ увольненія и мы должны были разстаться со своимъ любимымъ учителемъ.

Не съ однимъ только Антономъ Алексѣвичемъ пришлось намъ тогда разстаться. Уѣхала и Катерина Ѳедоровна, отчасти потому, что всѣ институтскія дразги глубоко надоѣли ей, но главное, вслѣдствіе болѣзни Вари, которая порядочно прихворнула, благодаря тому, что вынесла. Катерина Ѳедоровна и Варя уѣхали на годъ въ деревню, — послѣ предполагалось, что Варя, не поступая больше ни въ какое заведеніе, будетъ держать въ университетѣ экзаменъ на домашнюю учительницу.

Итакъ снова пришлось мнѣ разстаться съ тѣми, кто былъ мнѣ дороже другихъ.

Что сказать о послѣднемъ времени моего пребыванія въ институтѣ, гдѣ я осталась еще на годъ послѣ выпуска моего класса. Скучно и мертво прошло оно. Не было ни Катерины Ѳедоровны,



ни Вари, ни Антона Алексѣича. Съ новыми подругами я не умѣла сойтись. Я уже не была болѣе подъ началомъ Адамсъ, а попала къ парѣ старыхъ классныхъ дамъ; обѣ были очень похожи другъ на друга по своей безличности и отъ ученицъ требовали только: *bonne tenue et politesse*, не нападая черезъ чуръ ни на кого, можетъ быть потому, что „бренные наклонности“, присущія болѣе или менѣе каждому живому существу, были удовлетворены у нихъ хронической полувѣковой ссорой другъ съ другомъ, начавшейся еще на школьной, институтской скамьѣ. Одну изъ нихъ воспитанницы прозывали „клячей“, другую — „дромадеромъ“. И онѣ сами величали другъ друга такъ въ глаза и за глаза, прибавляя къ этому всевозможные эпитеты въ родѣ „дрянь“, „дура“ и тому подобное.

Я старалась удовлетворять требованіямъ моихъ воспитательницъ и быть съ ними въ мирѣ, что мнѣ и удавалось.

По временамъ я ходила къ Аннѣ Игнатьевнѣ и та по старому баловала меня, но мнѣ нужно было уже не одно баловство; я жаждала умственной жизни. Жажда эта, конечно, не удовлетворялась, серьезныя книги къ намъ больше не проникали, одни романы, по прежнему, продолжали наводнять заведеніе. Письма Вари и Катерины Федоровны были для меня большимъ счастьемъ; но, хотя я получала ихъ сравнительно часто, письма не замѣняютъ присутствіе друзей.

По окончаніи года я выдержала экзаменъ и распростилась съ подругами на выпускномъ актѣ, съ котораго всѣ, кромѣ меня, были увезены домой родными или знакомыми. Тетушка Медвѣдева, писавшая, что возьметъ меня, повидимому отложила свой пріѣздъ. Письмо ея вообще было коротко и умалчивало о томъ, гдѣ я буду жить и что дальше дѣлать. Я предполагала, что мнѣ придется поступить куда нибудь въ гувернантки. Что касается отца моего, то извѣстій отъ него не было. Видя мое одиночество, добрая Анна Игнатьевна выпросила у начальницы дозволеніе взять меня пока къ себѣ, чтобы мнѣ не было скучно.

Въ день акта, ложась вечеромъ спать уже въ комнатѣ моей старой пріятельницы, я долго и горячо молилась: Помогни мнѣ, Господи! Страшна мнѣ жизнь, страшенъ широкій, незнакомый свѣтъ, куда я выступаю совершенно одинокая и гдѣ такъ много дорогъ... Укажи мнѣ, куда лежитъ мой путь, помоги мнѣ, Господи!

— Покойной ночи моя красавица? Вѣдь умаялась, поди, за



день? поваркивала Анна Игнатьевна соннымъ голосомъ, обезпеченная тѣмъ, что я не тушу огня.

Я задула свѣчу. Прощайте Анна Игнатьевна!

— Прощай, моя голубка!

Но я не засыпала, тревожныя мысли не давали мнѣ покоя. Иногда мнѣ казалось, что хорошо бы вотъ закрыть теперь глаза и такъ навсегда заснуть, чтобы не просыпаться больше... тогда нечего и бояться этого темнаго, неизвѣстнаго будущаго... и въ ту-же минуту я чувствовала горячее желаніе жить, дѣйствовать, бороться съ чѣмъ-то, только не умирать, только не спать! Пусть жизнь наноситъ мнѣ жгучія, острые раны, но бездѣйствія, сна, смерти я не хочу!

Скоро, завтра можетъ быть, я буду на волѣ... Что дастъ мнѣ новая жизнь? Что внесу я въ нее? Какая я и какою буду? Я болѣзненно напряженно старалась отдать себѣ отчетъ въ томъ запасѣ знаній и мудрости, который собрала за шесть слишкомъ лѣтъ моей школьной жизни. Чему учили меня? Какія нравственныя начала вложили мнѣ въ душу? Картины за картинами, какъ въ горячечномъ бреду, проносились передо мною. Не въ отвлеченной формѣ идей являлись въ моей головѣ воспоминанія, а олицетворялись въ живые образы.

— *Vous êtes aigrie!* шепчетъ мнѣ голосъ татап:—вы бѣдная дѣвушка и у васъ дурной характеръ, а вы должны уступать и ласкаться: вамъ вѣдь нужно хлѣбъ свой зарабатывать...

— *Baissez les yeux, tenez vous droite,* нравственный уродъ!.. Вы еще осмѣливаетесь не слушаться, когда я вамъ приказываю!.. гремитъ Адамъ.

— Горе творящимъ соблазнъ! твердитъ Софья Ивановна Богданова и суетъ мнѣ въ ротъ ложку какой-то мерзости. — Кушай, кушай хорошенько!—Это дядя, но его голосъ заглушается неистовымъ чавканьемъ и хрюканьемъ... Ахъ сколько ихъ тутъ: и кузены, и Ильина, и Попова, и много—много нашихъ... почти всѣ тутъ!

— Хриstopродавцы, подлне, подлне! коститъ ихъ Шурочка и отчаянно плача зоветъ: — Маменька, милочка, ахъ милочка, гдѣ ты?

— *Noblesse oblige!* декламируетъ кто-то.

— *Un-deux, chassé—croisé!* скандируетъ другой голосъ.

— Курнофеечка, дочурочка! это ласковый голосъ Клушина и мнѣ нисколько на этотъ разъ не смѣшно.



— Я жалѣю всѣхъ, всѣхъ! шепчетъ Варя. Я знаю ея блѣдное личико съ тонкими чертами, ея мягкіе какъ шелкъ русые волосы и каріе, полные любви глаза—вся она сіяетъ какимъ-то тихимъ свѣтомъ... Катерина Ѳедоровна улыбается рядомъ съ нею...

— Любите, любите людей! тепло произносить Антонъ Алексѣвичъ и ярко выдѣляется на минуту изъ мрака лицо его съ живыми добрыми глазами.

Но какъ, чѣмъ доказать имъ мою любовь?

Густой туманъ застилаетъ все кругомъ, Антонъ Алексѣвичъ говоритъ еще что-то, но гулъ отъ тысячи голосовъ покрываетъ его голосъ... Я уже не различаю ничего... Откуда-то издали слабо доносится: „Не дѣлай другому...“

— Но дѣлать-то, дѣлать что нужно? Я, вѣдь, не знаю!.. Скажите, помогите! отчаянно вскрикиваю я и просыпаюсь. Надо мной стоитъ Анна Игнатьевна, держа въ рукахъ ночничекъ и крестить меня и шепчетъ:

— Христосъ съ тобой, моя голубочка, спи, усни!

А. Л.

*Конецъ.*